

Всеволод Глуховцев



АЛЕКСАНДР I: ИМПЕРАТОР,  
ХРИСТИАНИН, ЧЕЛОВЕК

# Всеволод Глуховцев

## Александр Первый: император, христианин, человек

*<https://litres.ru/74105731>*

*SelfPub; 2026*

### Аннотация

Император Александр I – одна из самых странных, загадочных, возможно, одна из самых недооцененных фигур отечественной истории Отчасти, он сам, конечно, «виноват» в сотворении такой репутации о себе: был странным, сложным, скрытным человеком; несомненно, мог видеть и сознавать многое, честно искал правду, искренне поверил в Бога, свет веры хотел понести по Земле и не сумел сделать почти ничего.

Монархам грех жаловаться на невнимание исследователей, и Александр Павлович не исключение. Библиография о нём огромна, дотошные люди прошлись по его жизни чуть ли не с хронометром, попутно описали судьбы других людей, так или иначе пересекавшиеся с судьбой государя. Так стоит ли тысячу раз изученное, разложенное по полочкам и препарированное – изучать в тысячу первый?.. Стоит! Немало стоит, если целью исследования сделать не анализ, а синтез, если постараться увидеть человеческое бытие не как отрезок времени, но как

отражение вечности, как отзвук и предчувствие разных сторон истории.

# Содержание

От автора	6
Глава 1. Бабушкин внучек	9
1	9
2	16
3	24
5	35
6	52
7	63
Глава 2. Сын, отец и тень бабушки	69
1	69
2	70
3	75
4	78
5	87
6	93
7	101
8	111
9	122
10	126
11	134
12	138
13	144
14	149

15	154
16	158
Глава 3. Прекрасное начало?.	160
1	160
2	167
3	171
4	180
5	189
6	196
7	210
Глава 4. Большая политика	213
1	213
2	217
3	226
Конец ознакомительного фрагмента.	229

# **Всеволод Глуховцев Александр Первый: император, христианин, человек**

## **От автора**

Император Александр I – одна из самых странных, загадочных, возможно, одна из самых недооцененных фигур отечественной истории... Отчасти, он сам, конечно, «виноват» в сотворении такой репутации о себе: был странным, сложным, скрытным человеком; несомненно, мог видеть и признавать многое, честно искал правду, искренне поверил в Бога, свет веры хотел понести по Земле... и не сумел сделать почти ничего.

Монархам грех жаловаться на невнимание исследователей, и Александр Павлович не исключение. Библиография о нём огромна, дотошные люди прошлись по его жизни чуть ли не с хронометром, попутно описали судьбы других людей, так или иначе пересекшиеся с судьбой государя. Так стоит ли тысячу раз изученное, разложенное по полочкам и препарированное – изучать в тысячу первый?.. Стоит! Немалого

стоит, если целью исследования сделать не анализ, а синтез, если постараться увидеть человеческое бытие не как отрезок времени, но как отражение вечности, как отзвук и предчувствие разных сторон истории. Ведь человек – средоточие вселенских сил, он является в этот мир со встроенной в душу программой «Я равен Космосу»... однако, найти и включить эту программу оказывается задачей чрезвычайной трудности; не сказать, что невыполнимой, но всё-таки очень, очень трудной. Почему?.. Автору хотелось бы, чтобы жизнь и судьба императора Александра I помогли ответить на данный вопрос. Это стремление и составляет сущность книги, предлагаемой благосклонному читательскому вниманию.

Читатель встретит в ней немало дополнений и примеров иллюстрирующего характера из русской литературной классики – это сознательный авторский приём, ибо талантливое художественное описание всегда есть живой, яркий образ, раскрывающий ту или иную ситуацию куда более эффективно, нежели тяжеловесные наукообразные рассуждения...

Небольшой комментарий к структуре, графике и особенностям текста: жирным шрифтом выделены цитаты из Библии, курсивом – некоторые цитаты из других источников, а также авторские отступления поясняющего и дополняющего характера. В ссылках на Библию указаны название книги, затем номер главы и номер строфы; во всех остальных случаях цифровые обозначения указывают: обычным шрифтом – номер источника по списку литературы и номер то-

ма, если источник представляет собой многотомное издание; курсивом – номер страницы. Для интернет-ресурсов номер страницы не указывается. Некоторые цитаты, особенно стихотворные, давно ставшие крылатыми выражениями, приводятся без указания на источник. Даты, если при них нет специальных оговорок, даются по Юлианскому календарю. Цитаты из источников, изданных до 1918 года, приведены в соответствие с современной орфографией. Русская транскрипция иностранных имён собственных взята в соответствии с большинством изданий.

Автор выражает огромную благодарность всем авторам сочинений, использованных при работе над книгой, и тем, чью помощь также трудно переоценить: сотрудникам издательства «Вече», коллегам по кафедре философии, истории и права Уфимского филиала ВЗФЭИ, работникам библиотек, книжных магазинов, интернет-центров. Особые слова признательности – историку и писателю Дмитрию Володихину. Без эрудиции, профессионализма всех этих людей, их доброжелательного отношения к автору книга вряд ли могла бы состояться.

# Глава 1. Бабушкин внучек

## 1

Будущий Император Всероссийский Александр Павлович родился 12 (23-го – по Григорианскому календарю) декабря 1777 года. Его появление на свет, несомненно, обещало стать важнейшим политическим событием в жизни не только Российской империи, но и Европы, готовившейся в эти дни к празднованию Рождества Христова; а раз так, то и всего вовлечённого в исторический процесс человечества, ибо в те времена история мира практически равнялась европейской... Ожидания сбылись. Младенец вырос, прочно взял в свои руки дела всемирные, и целая эпоха оказалась прочно связана с его именем... которого тогда, 12 декабря 1777 года ещё не было.

Родившись, он сразу же оказался потенциальным наследником крупнейшего на планете престола, что самым прямым образом определяло вокруг него сложную политическую тригонометрию и ставило новорождённого в особые, далёкие от обыденных маленьких тревог и радостей отношения: с родителями – отцом, формальным наследником российского трона Павлом Петровичем и матерью Марией Фёдоровной; и с бабушкой, императрицей Екатериной II. У

неё, в свою очередь, отношения с сыном Павлом были очень далеки от нормальных семейных, состоя из двусмысленностей, недомолвок, взаимных подозрений и опасений – что естественным образом проистекало из обстоятельств захвата Екатериной верховной власти в 1762 году. Захват этот был откровенно незаконным, хотя впоследствии ему и старались изо всех сил придать видимость юридического благополучия; но, разумеется, люди мыслящие – и не только в высшем обществе – знали о лукавых эвфемизмах официальных сообщений. Пугачёву потому и удалось развить громадную энергию бунта, что он действовал именем «законного государя» Петра III, согласно лживому официозу, умершего от «геморроидальных коликов» [36, 345], в которые никто не верил. Скорее согласны были поверить в то, что царственный узник, насильно привезённый в Ропшу, сумел сбежать от своих церберов и скитался по Руси в поисках способа вернуться на царство – не по прихоти, конечно, но по чувству долга. Царское служение – священный долг, принятый человеком, и этот человек не вправе отречься от миссии, возложенной на него не людьми, но Богом... Народное сознание вполне готово было принять идею истинного царя, помазанника, оставшегося верным священному долгу: умные деятели казацкой старшины, подбившие «маркиза Пугачёва» на дерзкую и рисковую авантюру, были, видимо, отличными психологами. Да и сам он, конечно, был человек даровитый, с задатками блестящего артиста.

Потаённые разговоры струились осторожно и при императорском дворе. Целью их являлся в том числе – а точнее будет сказать, прежде всего – подросший наследник Павел Петрович; когда его отец погиб, мальчику и восьми лет не исполнилось, но потом, с возрастом, он, не без помощи придворных, разумеется, узнал об истинной причине смерти. И каково же ему было жить с таким знанием! – что мать похитительница власти и фактически убийца отца!.. А он сам, законный обладатель престола, вынужден пребывать в каком-то униженном и непонятном положении.

За все тридцать четыре года своего владычества Екатерина никому не позволила безнаказанно усомниться в её праве на трон. Не смел вслух сомневаться и Павел. Но императрица чувствовала его настроения, подозревала, должно быть, что кое-кто из приближённых тайно влияет на цесаревича – а он неглуп, при том к монархической идее относится совершенно всерьёз, так что говорить о спокойных отношениях между матерью и сыном не приходилось... Однако, Екатерина отлично понимала, что решить проблему так, как это было с Петром III, не получится. Ещё одной случайной смертью не обманешь никого в России, европейский же бомонд и подавно. Следовательно, решение напрашивается само собой: нужен другой наследник. Кто? Теоретически здесь всё ясно: сына требуется женить, продлить династию – и первого же родившегося внука целенаправленно и методично воспитывать как потенциального главу государства. Теоретически

ясно, практически, конечно, посложнее... но Екатерина не из тех, кто не умеет провести свои планы в жизнь.

Очевидно было, что равную по рангу невесту наследнику российского престола следует, вероятнее всего, искать в каком-то из многочисленных германских государств (как некогда отыскивали саму Екатерину в герцогстве Ангальт-Цербском), а лучшим посредником в этом делиткатном деле является прусский король Фридрих II, исключительно умный, энергичный и твёрдый властитель. Отношения между ним и русской царицей, будучи взаимовыгодными и партнёрскими, в основе своей имели сугубую политическую целесообразность; каждый из партнёров отлично понимал, что царственный визави может изменить в первый же миг после того, как решит, что измена несёт с собой долгосрочные стратегические преимущества – однако это нимало не мешало монархам воспринимать друг друга с совершенным уважением. Они были сильные, твёрдые, жёсткие политики, и любой из них вполне бы понял другого, совершившего какое-либо циничное действие во всемирной игре без правил... Оба сознавали отсутствие правил в этой игре, и оба были победителями.

*Стоит отметить, что обоюдное уважение зиждилось ещё и на почве служенью муз. И прусский король и русская царица не только меценатствовали, собирая вокруг себя знаменитостей, но сами притязали на творческие лав-*

*ры; Фридрих писал историко-философские трактаты, Екатерина редактировала ею же основанный журнал «Всякая всячина», причём являлась там автором многих статей [41, т.4, 67]... В общем, между двумя Великими (и Фридрих и Екатерина почти официально заслужили этот исторический эпитет) имело место одобрительное взаимопонимание.*

Сейчас уже трудно сказать, благодаря ли проницательности Фридриха, или так сложились иные обстоятельства – но выбор невесты оказался Павлу по душе. Юная принцесса Гессен-Дармштадтская Вильгельмина вроде бы не блистала красотой, но великий князь полюбил её со всем пылом чистого, искреннего девятнадцатилетнего юноши. Екатерина могла быть довольна: ей удалось направить энергию сына в нужное русло, и теперь императрице оставалось ждать рождения первого внука, из которого она собиралась воспитывать будущего просвещённого государя...

Но воистину человек предполагает, а Бог располагает. Радоваться было рано. Принцесса Вильгельмина, в православии ставшая Натальей Алексеевной, в силу физической конституции оказалась неспособной к деторождению. Именно к деторождению, а не к зачатию, из-за чего судьба её приобрела трагический оборот: она забеременела, но не смогла разрешиться от бремени. По тем временам диагноз тяжкий, для Натальи же Алексеевны он оказался фатальным. Придвор-

ные врачи ничего не смогли сделать. Великая княжна скончалась 15 апреля 1776 года.

Наверное, главным достоинством Екатерины, сделавшим из неё успешного политика, достигавшего поставленных целей, являлась настойчивость, умение не опускать руки и добиваться своего. Она одолевала и не такие неудачи. Не получилось достичь желаемого с первого раза – значит, предстоит второй! А если понадобится, и третий, и четвёртый... и так далее, вплоть до вразумительного решения проблемы.

Впрочем, в данном случае третьего раза не понадобилось. Достаточно оказалось второго – и опять не без помощи прусского короля. Любопытно, что вновь невеста отыскалась в том же юго-западном углу тогдашнего конгломерата германоязычных государств, по соседству с Гессеном – в Великом герцогстве Вюртембергском. Императрица действовала ударными темпами: в апреле цесаревич Павел овдовел, а уже в сентябре того же 1776 года он был женат повторно.

Дочь герцога Вюртембергского София-Доротея была к моменту свадьбы ещё моложе Натальи Алексеевны: семнадцать лет. Разумеется, она также приняла православие и стала называться Марией Фёдоровной... В отличие от предыдущего, этот брак оказался достаточно долгим (полгода не хватило супругам до «серебряной свадьбы») и самым многодетным из всех монарших браков Романовых со времени царя Алексея Михайловича. Вся дальнейшая императорская династия, включая Николая II и его детей – суть прямые по-

томки одной супружеской пары: Павла Петровича и Марии Фёдоровны. Десять детей за двадцать один год! – и могло быть больше, если бы не «апоплексия» Павла Петровича, о коей речь впереди... Воля и настойчивость Екатерины привели к должному результату. Рождение внука стало очередной её политической победой.

В святцах день 12 декабря по старому стилю означен именами нескольких святых: чудотворца Спиридона, преподобного Ферапонта Монзенского; священномученика Александра, епископа Иерусалимского; мученика Разумника (Синезия). Можно быть уверенным, что самовластная бабушка не долго думала над тем, как назвать внука. Александр! – прекрасные политические, вернее, даже геополитические ассоциации: и с Александром Македонским и с Александром Невским, великолепные исторические параллели... И младенец был торжественно крещён.

Итак, Александр. Обряд совершал о. Иоанн Панфилов, духовник Екатерины. Сама же она стала восприемницей (крёстной матерью), а восприемниками – заочными – император Великой Римской империи (проще говоря, Австрии) Иосиф и прусский король Фридрих II, тот самый сват.

Из каких соображений Екатерине понадобилось делать восприемниками православного младенца католика и лютеранина?.. Конечно же, опять из геополитических. Руководствовалась ли она при этом какими-то религиозными, богословскими идеями? Вряд ли; но вот о том, какое продолжение это необычное крещение получило в жизни Александра, сказать стоит. Некий зародыш идеи единения церковей впоследствии развился в глубокий духовный посыл; реально,

правда, вышло из этого немного, а если честно, то ничего. Но ведь история нашего мира не вчера началась, не завтра кончится, и кто знает, как отзовутся в будущем те давние мечты русского императора...

Что же касается о. Иоанна Памфилова, то он не оставил в биографии Александра Павловича сколько-нибудь заметного следа. Потомственный священник, он по каким-то причинам не закончил Александро-Невскую Академию, выйдя из неё диаконом; однако восполнил этот пробел самообразованием: добился того, что стал считаться одним из учёнейших священнослужителей, латинским же языком владел в совершенстве. Был остроумен, не терялся в светском обществе... Словом, именно такой духовник и мог быть у Екатерины II. Пусть не яркий, но свой след в русской культуре он оставил: сотрудничал в Академии наук, участвовал в составлении словаря русского языка... А это не так уж и мало.

За три месяца до рождения Александра Петербург сокрушило наводнение – на тот момент самое страшное за всю историю города. Было очень много жертв. Предзнаменование?.. Екатерина наверняка старалась об этом не думать. Она активно и очень жёстко боролась с разными проявлениями суеверия, но это нимало не значит, что она была крайней рационалисткой, полагавшей реально существующим лишь то, что обобщено в итоге систематических наблюдений, желательно в математическом виде – ибо с таким подходом большая часть мира просто останется вне поля зрения исследо-

вателя; Екатерина если и не осознавала это формально, то во всяком случае, улавливала интуитивно. Для науки это, впрочем, не страшно, для философии же, да и просто для жизни – серьёзная методологическая ошибка. Императрица была слишком умна, вернее, мудра, чтобы этого не понимать... По этой же причине она высмеивала вульгарный дешёвый мистицизм вроде масонского. Но не была она и воистину религиозным человеком... Вероятнее всего предположить, что жизнь представлялась ей сложной, острой, опасной и остроумной игрой с участием множества людей, каждый из которых может стать либо другом, либо врагом, причём нажать себе последних можно очень быстро, а вот приобрести друзей – необычайно трудная задача... а ещё труднее добиться благорасположения судьбы, главного партнёра в этой странной игре, таинственного и переменчивого, который по каким-то своим непостижимым капризам может быть то союзником, то противником, и во взаимоотношениях с которым годится всё: когда рассудок, здравый смысл, когда фантазия, а когда и откровение свыше; и всякое событие есть приглашение подумать над его смыслом и предугадать будущее. Потому, если уж случилась неприятность, надо принять её к сведению и в дальнейшем постараться избежать такого или быть к нему готовым... В общем такое мировоззрение можно назвать своеобразным, христианизированным стоицизмом.

Ход размышлений в данной парадигме привёл царицу к

выводу о том, что лучшей стратегией в этой загадочной игре – не идеальной, но всё-таки лучшей – является воспитание философски образованного государя, образованного, мыслящего и нравственного, способного сочетать высокие христианские принципы с твёрдой волей и мастерством политического менеджера. У самой Екатерины, правда, по части моральных принципов дело обстояло не слишком-то образцово, но её это, похоже, не очень смущало. Впрочем, грехи альковные человеку большей частью простительны, а если она в борьбе за власть что совершила непростительного, то не нам о том судить. Бабушкой же она оказалась замечательной, при том, что была никудышной матерью.

Имели и имеют место попытки критиковать педагогическую методу Екатерины; её находят плоской, наивной, схематической [73, 86]. Но ведь это педагогика! – трудно найти что-то тоньше, деликатнее, требующее большей духовной осмотрительности... А вот критиковать, напротив, легко.

В воспитательной системе Екатерины ошибки, конечно, были. Были, что называется, по определению: не ошибаться тут невозможно; были промахи и субъективные, её личные. Один из воспитанников, второй сын Павла Петровича и Марии Фёдоровны Константин (младше Александра на два года) вырос человеком каким-то, мягко говоря, странным, с труднообъяснимыми причудами; может, в том и не Екатерина виновата, но налицо именно такой факт, а не какой-то иной. Да и с Александром не всё вышло гладко; В.О. Ключ-

чевский по этому поводу заметил, что «...он был воспитан хлопотливо, но не хорошо, и не хорошо именно потому, что слишком хлопотливо» [35, т.5, 187]. Словом, налицо именно тот классический случай, когда у семи нянек дитя без глазу. Замечание справедливое едва ли не буквально: без глазу-не без глазу, но «без уха» маленький Александр остался точно – «прогрессивная» бабушка, зная о пользе воздушных ванн, летом распахивала окна в покоях внука, а с невской набережной, отмечая время, каждый час палили сигнальные пушки, в результате чего ребёнок почти оглох на левое ухо.

Вообще, можно предъявить императрице уйму претензий именно с педагогической точки зрения, начиная с разлуки детей с родителями; о других просчётах будет сказано ниже, равно как в целом о роковых пороках «просветительского» мировоззрения, к которому в значительной мере подвержена была Екатерина, и принципы которого внедряла в воспитательный процесс. Однако, следует повториться: быть умным задним умом – дело нехитрое. Нам, людям нашего столетия, из нашего далека ясно видно, что идеи века XVIII-го с их куцым рационализмом, секуляризацией, десакрализацией мира, или наоборот, с тайнами, с которых давным-давно сошёл их ложно-романтический ореол – год за годом, меняясь, приобретая те или иные новомодные черты, но всё же продолжая оставаться в известном идеологическом русле – вели к размыванию цельного мировоззрения, системным социальным сбоям и, наконец, к катастрофам: мировым вой-

нам, первой и второй...

Да, такова оказалась тяжкая плата за самонадеянность, за то, что этой части человечества показалось возможным жить земными благами, ничтожной философией, заменив ценности абсолютные на относительные. Заповедь вторая: не сотвори себе кумира – не дидактическая формула, но совершенная реальность. Вещи полезные, хорошие и даже прекрасные, превратившись в идолов, перестают хорошими быть – не потому, что делаются хуже, а потому, что люди, видя только их, теряют пути к полной истине. От этого и не убереглось Новое время: прогресс, наука, сытая жизнь, права и свободы – замечательные средства на пути к цели. Принятые же за цель, они дезориентировали христианское человечество.

Всё это правда. Но она постигнута страшной ценой, на собственной несчастной шкуре. Мы умно и даже мудро говорим о прошлом – а что можем сказать о нашем будущем?.. Да ничего по сути! Наверное, не стоит утверждать, что будущее нельзя предвидеть совсем, но что это невероятно трудно – с этим не поспоришь. Ничуть не легче было это сделать людям и во времена «Очакова и покоренья Крыма». Наше прошлое – это их будущее, а их-то прошлое и настоящее тоже казалось далёким от совершенства. Это ведь сказать легко: цельное мировоззрение, скреплённое христианской этикой – что теоретически совершенно верно; да только человеку в этом мире приходится иметь дело не с философскими

теориями, а с практическими феноменами. А каковы были феномены XVIII века, очень хорошо известно: избыточная роскошь королевских дворов и нищета крестьян, вольготные прихоти аристократов и страшная доля крепостных, у которых не было ни прав, ни свобод, ни даже фамилий... Всё это творилось в христианском мире – именовавшем себя таким – и где тут цельное мировоззрение?! И стоит ли удивляться, что мыслящие люди искали нечто новое, искренне хотели сделать жизнь лучше... Сделали, правда, хуже. Но упрекать людей в отсутствии провидческого дара – право же, чересчур.

Похоже, что Екатерина была осмотрительнее и проницательнее многих своих друзей-философов – может быть, в силу монаршего положения, да не просто монаршего, а монаршего в России, невероятно сложной стране. Разумеется, она видела, что никакие голые схемы тут не подходят, хотя и могут оказаться в известной степени полезными. Так же она подходила и к воспитанию внуков. Шла путём непроторенным, методом проб и ошибок, в чём-то и вправду перехлопотала, где-то что-то недоглядела... Но старалась искренне! Наконец, она просто любила внуков, помимо всех мудрёных теорий, а это тоже дорогого стоит. Между прочим, из педагогических успехов императрицы особенно интересен один, а именно: подарив маленькому Александру имение («Александрова дача») [5, 19], Екатерина обдуманно располагала там аллеи, лужайки, пруды, гроты и статуи – всё с симво-

лическим значением, дабы отрок естественно и ненавязчиво впитывал в себя образы русских побед, крестьянских полей, родной природы, царственных предков, в том числе Екатерины (как же без этого!), и, наконец, образ Бога: на высшей точке парка, на холме, находился Храм Розы без шипов. На внутренней поверхности купола этого храма изображён был Пётр Великий, символическая же Россия опиралась на щит со светлым ликом самой бабушки [5, 20].

Синкретический, так сказать, образ Божий – для православной страны, безусловно, выглядящий удалённо от традиций. Конечно же, это отголосок дурно понятого «свободо-мыслия», характерного для тех лет – но не стоит быть слишком критичным. Не одна Екатерина поддалась веяниям эпохи, а она, к тому же, сумела найти в этих веяниях и безусловно ценное. Отметим, наоборот, лучшее в этом проекте. Царица предлагала внуку вполне натуральный историко-экологический комплекс – в ту пору, когда и слов таких не знали. Действительно, юный царевич в Александровой даче – попытка создать гармонию личности, экосистемы (биосферы в целом) и культуры; идея, потенциал и перспективы которой и в наши-то дни только-только начинают осознаваться всерьёз. Тогда же подобные перспективы были, вероятно, неведомы и самой Екатерине, но идея, несомненно, коснулась её, и мы, два с лишним столетия спустя, должны это оценить.

Итак, бабушка стала первым во всех смыслах наставником будущего венценосца. Вторым – в смысле административном – был назначен матёрый придворный Николай Иванович Салтыков, впоследствии граф и князь; первый титул он получил от Екатерины, второй – от бывшего воспитанника, будучи возведён последним не только в князья, но и в самые высшие служебные чины и должности. Выбор этого человека в воспитатели с формальной точки зрения может показаться непонятным: никакого отношения к просвещению и образованию он не имел, жизнь провёл сначала на военной службе, затем при дворе. Воевал храбро. Дослужился до генерал-аншефа (по-нашему – генерал-полковник)... Но императрица знала, что делала. Очевидно, в генерале Салтыкове она усмотрела твёрдое мужское начало, которое, по её мнению, должно быть непреложным компонентом воспитания.

«Опытный и хладнокровный царедворец, Салтыков стоял, как правило, вне придворной борьбы и умел сохранять влияние при различных правлениях,» – сказано в Советской исторической энциклопедии [59, т. 12, 494], и, надо полагать, сказано справедливо. Потому в 1773 году генерал-аншеф был назначен попечителем наследника Павла Петровича, а с рождением Александра (затем и Константина) – глав-

ным воспитателем великих князей. Был при них ещё один генерал: Александр Яковлевич Протасов; этот, в сущности, выполнял функции «дядьки», и в историю попал благодаря своему дневнику, где с редкой прямоотой отзывался о подшефных – видимо, человек был добросовестный и бесхитростный.

Кто ещё окружал будущего государя (не считая, понятно, брата Константина)?.. Ближайшим другом его детства стал князь Пётр Волконский, дружбе этой суждено было продлиться всю жизнь Александра, а самому князю Петру довелось послужить в высших гражданских чинах и следующему царю, Николаю... Стоит также упомянуть няню Софью Николаевну Бенкендорф (бабушку будущего генерала и шефа жандармов), безмянных гувернанток, трудами которых мальчики заговорили на английском языке – не родном, но первом в их жизни. Русский стали осваивать следом. Французский начали изучать ещё позже, и о том разговор пойдёт особо.

Преподавателем же русского языка, а также истории избран был Михаил Никитич Муравьёв, представитель столь прославленной в нашем Отечестве фамилии. Правда, слава эта более обязана потомкам Михаила Никитича: сыновьям и разной степени племянникам, участникам декабристского движения, в том числе и тем, кто к зрелым годам из вольнодумцев превратился в рьяновоерноподданных, как усмиритель польского восстания 1863 года граф Муравьёв (тоже Миха-

ил), вошедший в историю под неблагозвучным прозвищем «Муравьёв-вешатель»... Так вот прихотливо соотносятся в истории судьбы предков и потомков.

Сам Михаил Никитич был человек кроткий, законопослушный, не бунтовал и никого не подавлял; принято считать его одним из лучших русских писателей XVIII века. Наверное, заслуженно, хотя сейчас вряд ли кто, кроме специалистов-филологов и литературоведов станет вникать в архаичную стилистику сочинений, повествующих о добре и гуманности... Доброту, нравственную чистоту Муравьёва отмечают все, писавшие о той эпохе, и почти так же единогласно говорят о том, что педагог он был неопытный.

Естественные и точные науки в образовании Александра носили сугубо служебный характер. Бывает, что учёный-естественник или инженер является прекрасным воспитателем, однако учителя великого князя в данном качестве не отметились. Не нужно, разумеется, воспринимать это как упрёк: морализаторство в их задачу не входило, а за то, что сверхзадачей не стало, взыскивать нечего. Это были первоклассные по тем временам учёные: Логин Юрьевич (Вольфганг Людвиг) Крафт (физика), Карл Массон (математика), Пётр Симон Паллас (география и биология; тогда это называлось: «натуральная история»). Можно не сомневаться, что знания они давали добротные, прочные. Как воспринял эти знания ученик? – вопрос отдельный. Впрочем, и к нему в данном смысле не должно быть крупных претензий: жизнь

не много времени предоставила ему для размышлений над закономерностями природного мира. Не исключено, что в какой-то момент своей жизни он этим с удовольствием бы занялся – похожие мысли высказывал... Но чего не случилось, того не случилось.

Безусловно, нельзя было представить воспитание будущего русского царя без религиозного начала, Закона Божьего. Был приглашён наставник и по этой части, и наставник более чем необычный.

Протоиерей Андрей Афанасьевич Самборский (в некоторых источниках – Сомборский) внешне совершенно не напоминал традиционного русского священника. Он много лет прожил в Англии, будучи настоятелем церкви при российском посольстве в Лондоне, сильно европеизировался, женился на англичанке (некоей Екатерине Филдинг). Внешняя европеизация выразилась в частности в том, что о. Андрей добровольно лишился усов и бороды, защеголял в светском одеянии – собственно, увидев его на улице, никто и подумать бы не мог, что перед ним православный батюшка. Кроме того Самборский – видимо, тоже в Англии – воспринял интерес к натуралистике и тому, что теперь бы назвали «биотехнологиями». При Екатерине он считался виднейшим агрономическим авторитетом, а на склоне лет (прожил, кстати, 83 года! – очень много для того времени), будучи уже частным лицом, в своём имении близ города Изюма (ныне Харьковская область) выводил новые породы овец, свиней, и новые

сорта картофеля. Построил в селе школу, больницу для престарелых... Словом, человек был незаурядный, в свою эпоху был на виду, да и сейчас, как видим, не забыт.

*Отметим любопытный факт: зятем Самборского стал Василий Фёдорович Малиновский, будущий директор Царскосельского лицея, где в первый набор учащихся, вместе с Пушкиным, Пуцциным, Горчаковым, Кюхельбекером, Дельвигом и другими был зачислен и директорский сын Иван Малиновский (лицейское прозвище – «Казак»), спустя много лет оказавшийся владельцем того самого поместья Каменка Изюмского уезда, в котором некогда экспериментировал Андрей Афанасьевич Самборский, его дед по матери [88]...*

Очевидно, Екатерина была невысокого в целом мнения о русском духовенстве, коли уж выбрала законоучителем внука человека столь далёкого от «второго сословия». Но – примечательный факт! – православие протоиерея Самборского никем из серьёзных исследователей не оспаривается, хотя подобные обвинения при его жизни имели место. А в Венгерской епархии Московского патриархата о. Андрея почитают как подвижника. Недаром: в 1799 году великая княгиня Александра Павловна (сестра Александра) вышла замуж за австрийского эрцгерцога Иосифа, очутилась в Венгрии, где испытала сильнейшее давление со стороны католического духовенства на предмет перехода в лоно Римской церкви.

Особенно усердствовали местные иезуиты. Отец Андрей – он был духовником Александры Павловны и вместе с ней поехал в Венгрию – смело вступил в полемику с папистами, не уступил им и сохранил эрцгерцогиню для православия [97].

При том надо сказать, что оценки Самборского как богослова всерьёз разнятся. В частности, утверждается, что протоиерей был типичным чиновником «по церковной части», державшим руки по швам, и высшим теологическим критерием для него служили распоряжения свыше: «Одобрения и беспристрастные свидетельства высочайших особ должны теперь положить единый и ясный смысл на оные многообразные толкования,» [73, 87] – расхоже цитируемая фраза из письма о. Андрея к митрополиту Амвросию. Где истина?.. Видимо, как чаще всего бывает, посередине. Отец Андрей явно был человек немалых способностей, культурный, с широким кругозором; светилом богословия его, вероятно, не назовёшь, но в профессиональной эрудиции и компетентности сомнений нет. Насколько он повлиял на формирование личности Александра?.. Можно предположить, что слушая гладко выбритого элегантного человека, ничем не похожего на русского попа, юный царевич совершенно не постиг ментальности народного, «низового» православного мироощущения, со всеми его позитивными и не очень особенностями. А нужно ли это было, стоило ли постигать такое мироощущение будущему русскому автократу? Очевидно, да – но где найти такого священника «из глубинки», который су-

мел бы здраво отделить зёрна от плевел! Возможно, если постараться, это и удалось бы сделать, но...

Но Екатерина при всей своей непритворной тяге к России, к русской цивилизации эту самую народную религиозность считала, вероятно, мешаниной истин, верноподданности, невежества, дикости и суеверий – социально полезной, но уж конечно, не для наследника. Потому в законоучители был приглашён отец Андрей. Почему выбор не пал на митрополита Платона, просвещённого мыслителя, сильнейшего богослова, блестящего литератора, к тому же духовника и воспитателя Павла Петровича?.. Трудно сказать. Было то, что было – исходить мы принуждены из этого.

Итак, «веры простонародья» Александр не ведал. К вершинам же религиозной мысли стремился по-настоящему, хотя путь его в этом направлении был сложным, извилистым, да так, собственно, и не привёл к желаемому результату... Искренняя вера Александра стала феноменом совершенно закономерным, можно сказать, выстраданным, имела долгую, непростую предысторию. Вплоть до Отечественной войны 1812 года великий князь, а затем и император толком не заглядывал в Библию, при том, бесспорно, считая себя христианином. Эту религиозную индифферентность молодого самодержца, случается, ставят в строку Самборскому: плохо учил, дескать... Однако, здесь отнюдь не так дело просто.

Вспомним, на какую эпоху пришлась юность Александра,

какие философские и социальные концепции, тенденции были модными, какими яркими, эффектными они казались, как будоражили не только юные, но и совершенно взрослые головы! И не стоит огульно зачислять все эти вольнодумные головы в безбожники, вольтерьянцы и якобинцы. Они были очень, очень разные, и потом время развело их далеко друг от друга совсем не случайно. Что к концу восемнадцатого века христианский мир переживал идейный кризис, стало несомненным: мыслящие люди искали выход. Некоторых действительно заносило к радикальным выводам – христианство, полагали они (любая религия вообще!) как мировоззренческая конструкция себя исчерпало. Другие, более проныцательные, видя огромный потенциал христианства, находили, что оно нуждается в обновлении, в приспособлении к современным условиям – и едва ли не у каждого такого философа имелся наготове личный проект обновления.

Очень вероятно, что похожим образом мыслила и Екатерина. Она не была, конечно, безбожницей, к традиционному русскому православию относилась скорее всего, с улыбкой, однако находила его политически выгодным для себя и оберегала от всяких суетных ухищрений вроде масонских. Но при этом, стремясь идти в ногу со своим временем, она наверняка усматривала в модных «просветительских» теориях нечто, обладающее значительным мировоззренческим потенциалом, способное выправить очевидные социальные недостатки. Угадывала ли она, что симптомы кризиса чре-

ваты сильнейшим потрясением, через несколько лет разразившимся в христианском мире и ставшим, очевидно, точкой перелома всемирной истории?.. Вероятно, нет; во всяком случае, она слишком уж увлеклась популярными и поверхностными теориями: при всей своей осмотрительности она не предвидела, каким чудовищем может стать «свободный» человек – тот самый, разум и величие которого так горячо проповедовали просветители.

*Термин «свободный» взят в кавычки ясно, почему. Просветители, а вслед за ними революционеры толковали идею свободы убого, а уж попав в массы безграмотных людей, это убогое толкование превратилось в глубокую дегенерацию высокой, в сущности, идеи. Свободен! – значит, можно всё, а самое приятное из этого всего – делать гадости.*

*Жил в те годы (1740–1814) такой мыслитель и освободитель человечества как маркиз Донасьен Альфонс Франсуа де Сад – его личность и «труды» есть гротескная, омерзительно-смешная, но по сути справедливая карикатура на французское просветительство; стоит заглянуть в эти самые «труды», чтобы увидеть в них мысли Вольтера, Дидро, Гольбаха в исковерканном виде, словно отражённые в кривом зеркале.*

*Это вовсе не значит, что философия Просвещения – пустой никчёмный вздор. Графоманство де Сада – в самом деле карикатура, а карикатура есть всегда гиперболизация*

*неких сторон явления, в данном случае худших сторон. А были ведь и лучшие стороны! Разумеется, в идейных поисках XVIII века имели место действительно ценные находки, и сами поиски эти велись из лучших побуждений. Но в том-то и состоит драма – не только Просвещения, многих других гуманитарных концепций – в противоречии между замыслом и результатом.*

Не избежал увлечения расхожими идеями и Александр. Но с годами он сумел отделить чистое от нечистого, реально оценил то лучшее, что было в поветриях его юности: пусть банальное, ходульное, но было. «Намерения важнее результата,» – говаривали древние китайцы; тезис, с которым можно не соглашаться, но к которому нельзя не прислушаться. Если намерения юноши сделать этот мир прекрасным наивны, но благородны, то это достойно уважения: не так уж часто встречается подобный аристократизм духа. Бывает, правда, что в ком-то ребячество тянется вплоть до зрелости, и даже перезрелости, и это выглядит и смешно и грустно... Но речь всё-таки не об этом. Сложные, многомерные жизненные обстоятельства по-разному влияют на молодых романтиков, делая из них со временем очень разных людей: не исключение и Александр. Время изменило его; не миновал метаморфоз – хотя и проявил редкостную закоренелость в прошлом – самый знаменитый из его учителей, намного переживший своего ученика (везло царевичу на долгожите-

лей-наставников! если б они ещё и секрет долголетия ему могли передать...). Речь о Фредерике Лагарпе.

В жизни этого человека полно причуд: начиная с имени и фамилии. В том, что люди берут себе псевдонимы, наверняка всегда есть что-то глубинно– или высотно-психологическое, во фрейдистском ли духе, напротив ли, в религиозном – но в любом случае псевдоним суть кодификация явного, потаённого или неосознаваемого желания заключить какой-то особый персональный договор с судьбой. Потомок франкоязычных швейцарских дворян де Ларпазов взял себе фамилию Лагарп (или де Лагарп – в зависимости от политической обстановки) – точно он, небесталнный и начитанный юноша, предвосхитил изгибы будущей своей биографии.

La harpe – по французски «арфа» (по английски – harp). Очень вероятно, что в выборе юного де Ларпаза прослеживается античный мотив: уже в детстве мальчик испытывал совершенно неподдельное восхищение перед древними греками и римлянами, точнее, перед собственным абстрактным представлением о той эпохе, считая её образцом интеллектуальной и гражданской жизни. Почему именно «арфа»? Возможно, изо всех мифических героев Орфей показался молодому человеку самым душевно близким...

Псевдоним псевдонимом, а что касается имени, то старик де Ларпаз – тоже, видно, поклонник античности – назвал сына Фредериком-Сезаром, соединив имена двух любимых

своих деятелей: прусского короля Фридриха II (Александрова крёстного) и Юлия Цезаря [91]. И магия имён сработала с чудовищно ядовитой точностью! С годами став профессиональным политиком, Лагарп считал, что он освобождает человечество от тирании; словно в насмешку над «освободителем», названным в честь двух если не тиранов, то жёстких, суровых самодержцев, судьба превратила его в деспота, в своё время вынужденного спастись бегством от соотечественников... Английское *harp* также не зря упомянуто выше. И оно прозвучало иронической нотой в жизни незадачливого либерала, ибо помимо «арфы» имеет ещё одно, несколько жаргонное значение: «бубнить одно и то же; тянуть одну и ту же песню». Именно этим Лагарп и занимался на протяжении многих лет, не замечая – или не желая замечать?.. – что живая жизнь никак не укладывается в его косные идеологемы. Правда, покуда он оставался теоретиком (а точнее сказать, говоруном) свободы, его мысли и действия друг другу не противоречили, ибо действий как таковых не было. Но вот на практике всё вышло совсем иначе...

Однако, не следует забегать вперёд. Возвращаясь в юность Лагарпа, надо отметить следующее: Швейцария в те годы, как и сейчас, была конфедерацией нескольких кантонов, и выпускник Тюбингенского университета оказался в должности адвоката в одном из самых консервативных, находящихся под властью города Берна. Отдадим должное молодому адвокату: заподозренный властями в излишнем радикализ-

ме, он не отрёкся от своих взглядов, после чего Бернская коллегия адвокатов объявила ему, что в его услугах более не нуждается. Куда податься?.. К тому времени в Северной Америке уже произошла революция, колонисты сбросили власть английского короля, основали Соединённые Штаты. Многим жаждущим перемен европейцам эта новая страна представлялась воплощением их мечтаний: свободные люди строят свободное общество!.. Мысль отправиться за океан у Лагарпа возникала, но всё-таки совокупность обстоятельств обернулась так, что поехал он не на запад, а на восток. Повод к тому случился вроде бы ненароком... но очевидно, что случайностей на этом свете нет.

Почему Лагарп принял предложение русского двора? По причине вполне банальной: слава Екатерины как императрицы-просветительницы уже давно гремела по Европе, имя её упоминалось в одном ряду с именами Вольтера, Дидро, Руссо... Подкреплялось это умелой культурно-пропагандистской политикой: Дидро, общеизвестно, последние годы провёл на полном Екатерининском пенсионе – и, отрабатывая свою счастливую старость, глаголил на весь свет Божий, устно и письменно, о великих достоинствах русской царицы.

Говоря современным языком, Екатерина умела подать себя. У людей, подобных Лагарпу, складывалось мнение о ней, как о их единомышленнице, мудро воспитывающей (т. е. приобщающей к вольтерианско-просветительскому мировоззрению) полудикий, но тем самым и не испорченный,

очень перспективный народ, едва ли не *tabula rasa*, который впоследствии, возможно, станет основой нового, разумного, справедливого социума... В известном смысле нечто подобное и было: Екатерина общалась с Вольтером и Дидро, конечно же, не только ради рекламы. Она искала в их учениях то дельное, что можно было бы применить в царственной практике. Другое дело – она не забывала, какой трудной страной руководит, и что здесь прежде чем отрезать, надо отмерить не семь, но семьдесят семь раз. Своих высоколобых друзей она слушала, будучи себе на уме – и как позже выяснилось, хотя и сама не всё умела предвидеть, правильно делала.

Лагарп с энтузиазмом принял приглашение состоять при особе юного великого князя. Правда, получилось недоразумение: швейцарцу предложили должность учителя французского языка, в то время как он рассчитывал стать универсальным наставником царевича. Выяснение отношений несколько затянулось... но компромисс был найден. И начать пришлось всё-таки с французского. Это было осенью 1784 года.

Стоит запомнить эту дату. Занятия Лагарпа с Александром длились десять лет: с 1784 по 1794 год, то есть с семилетнего возраста ученика до семнадцатилетнего – стандартный возрастной период средней школы. От французского языка перешли к геометрии, ну а потом постепенно к тому главному, чем так жаждал просветить воспитанника учи-

тель: «науке гражданственности, свободы и равенства», иначе говоря, к социальной философии и политологии.

Александр был восхищён этими уроками, и чувство благодарности к учителю сохранил навсегда, хотя с годами в области духовных исканий далеко ушёл от бывшего наставника, и ничего, кроме воспоминаний, между этими людьми не осталось... Должно быть, Лагарп и вправду был отличным лектором: умел рассказывать ярко, красочно, убедительно. Вообще, артистизм лектора – именно лектора, не учителя в школьном смысле, а профессора высшей школы, и особенно в гуманитарных дисциплинах – важнейшая составляющая профессионального успеха. Лагарп обладал таким даром, и его занятия действительно были настоящими сеансами мастера художественного слова – в том сомневаться нечего. Однако...

Однако, вновь дадим слово Ключевскому.

*«Во всём, что он [Лагарп – В.Г.] говорил и читал своим питомцам, шла речь о могуществе разума, о благе человечества... о нелепости и вреде деспотизма, о гнусности рабства... Лагарп не разъяснял ход и строй человеческой жизни, а подбирал подходящие явления, полемизировал с исторической действительностью, которую учил не понимать, а только презирать. Добрый и умный Муравьёв подливал масла в огонь, читая детям как образцы слога свои собственные идиллии о любви к человечеству... Заметьте, что всё*

*это говорилось и читалось будущему русскому самодержцу в возрасте от 10 до 14 лет, т. е. немножко преждевременно. В эти лета, когда люди живут непосредственными впечатлениями и инстинктами, отвлечённые идеи обыкновенно облекаются у них в образы, а политические и социальные принципы становятся верованиями. Преподавание Лагарпа и Муравьёва не давало ни точного научного реального знания, ни логической выправки ума, ни даже привычки к умственной работе...*

*Высокие идеи воспринимались 12-летним политиком и моралистом как политические и моральные сказки, наполнившие детское воображение не детскими образами и волновавшие его незрелое сердце очень взрослыми чувствами... Его не заставляли ломать голову, напрягаться, не воспитывали, а как сухую губку пропитывали дистиллированной политической и общечеловеческой моралью... Его не познакомили со школьным трудом, с его миниатюрными горячами и радостями, с тем трудом, который только, может быть, и даёт школе воспитательное значение» [35, т.5, 188].*

В этой обширной цитате очень точно подмечен главный субъективный недостаток Екатерининской педагогической методы. Преподаватели – умные, знающие, талантливые люди: Лагарп, Муравьёв, отчасти, возможно, Самборский – обращались с воспитанниками как со студентами, достаточно взрослыми людьми, уже прошедшими среднюю школу, с её

рутиной, дисциплиной, нудными ежедневными упражнениями – со всем тем кропотливым и незаметным трудом, в котором закладывается основа будущей духовной и интеллектуальной деятельности. Но ведь воспитанники были детьми! Никакой самый лучший лейтенант не сможет командовать полком – для того должно пройти всю цепочку назначений: взводный, ротный, батальонный командир... Екатерина же и её профессура взялись возводить роскошный дворец если не на песке, то во всяком случае, не на прочном надёжном фундаменте.

Выше отчасти говорилось об этом в извинительном для императрицы тоне. Действительно, ей приходилось быть превопроходцем, ибо системы государственного образования в России тогда практически не было. Классические средние школы, те самые «царские» гимназии, о которых нынче говорится столько хвалебных слов (и заслуженно, ибо они с честью прошли испытание временем: советские школы послевоенных лет стали в значительной степени слепком с гимназий, современным же и вовсе поспешили вернуть это название, звучащее как символ качества), в массовом порядке появились только в 1804 году (по указу главного героя этой книги!). Так что можно считать Александра с Константином подопытными кроликами педагогических экспериментов.

То, что моральные и политические премудрости внедрялись в неокрепшие головы – просчёт Екатерины. Другой серьёзный просчёт относится именно к Лагарпу; о нём также

было упомянуто прежде, но сейчас пришло время остановиться на том подробнее.

Собственно, это не частный Лагарпов просчёт, а системная ошибка всей просвещенческой идеологии, грубо упрощённого, всё и вся схематизирующего рационализма, прилагаемого к социальным реалиям. Говоря о свободах и правах человека, гражданских равенстве и справедливости... обо всех этих ценностях, имеющих, бесспорно, моральный характер, просветители исходили из их гипотетического приоритета, полагая при этом, что всего упомянутого в современном мире нет, современный мир плох – и свои цели-идеалы рисовали не столько самостоятельными ценностями, сколько на контрасте с окружающими реалиями. Эти реалии были полны пороков, бед и даже гнусностей – совершенная правда. Борьба со злом – мысль благородная. Всё верно. Много и пылко провозглашалось тезисов о науке и прогрессе – тоже ничего против не скажешь. Но всё это, включая науку и прогресс, рассматривалось только как составляющие политической борьбы: а вот данный ход уже сводил все высокие послы в приземлённую тактику мелких, слабо систематизированных действий.

Вообще, идеология – слово, приобретшее устойчивый политический оттенок благодаря веку XVIII-му и последующим; а в сущности, в коренной, исходной сущности, без всякой смысловой аберрации – идеология суть не что иное, как комплекс базовых мировоззренческих постулатов: лич-

ности или некоей социальной группы. То есть, собственно, первично-социализированное мировоззрение, пред-философия. Идеология, конечно, может быть политизированной, то есть заострённой на том, чтобы кому-то одолеть своих оппонентов. Но ясно, что вершиной системы человеческих ценностей должно быть абсолютное – не отрицание чего-либо, и не такое положительное, которое выигрышно смотрится на фоне отрицательного, хорошее от противного, так сказать... Оно может, бесспорно быть ценностью, но лишь относительной, неспособной стать истинно прочным основанием адекватного мировоззрения. Абсолют как таковой, безотносительно к чему-либо – опора, стержень и небо-свод мироздания. Вот этого-то абсолютного позитива лишали себя некоторые интеллектуалы на протяжении всей мировой истории, в том числе «просветители», а за ними и сторонники более поздних течений, генетически восходящих к Просвещению.

Вообще, мировоззренческий релятивизм, с необходимостью включающий в себя релятивизм этический, несёт в себе неисправимый системный порок: если всякий объект для аутентичной его оценки нуждается в контр-объекте, то дальнейшее осмысление данных сущностей так или иначе, через больший или меньший ряд промежуточных умозаключений, заводит мыслящего в лабиринт бесконечно малых противоречий, подобных апориям Зенона. Это, наверное, не смертельно, но безнадежно, до смешного скучно, пусто и уныло.

Уныние суть один из смертных грехов – а его философским покрывалом как раз и становится дряблая материя последовательно проводимого релятивизма.

В разные эпохи и в разных устах он может являть себя по-разному, и отнюдь нельзя сказать, что в нём совсем нет ничего, никаких достоинств. Как вспомогательное средство, он в состоянии пробудить, активизировать мысль, заставить её двигаться... Но беда, если человек только в кругу относительных ценностей и замыкается – тогда, собственно, его мировоззрение не становится системой в полном смысле этого слова, оно бедно и слабо структурировано. В нём утрачено важнейшее онтологическое измерение: осознание Абсолюта и стремление к нему, что придаёт личности потенциал безмерного; реализуется он или нет – другое дело, но он есть. Релятивизм же принципиально исчерпаем; он способен быть интересным, увлекательным, блестящим... и всё это до поры до времени. Увлекательность непременно иссякнет, а блеск окажется мишурным – так как бесконечность вне Абсолюта может быть лишь «дурной», по выражению Гегеля.

Релятивисты разных эпох и племён достаточно различны. То, что утверждают одни из них, может противоречить высказываниям других... да и вообще, релятивизм – это не столько цельное осознание бытия, сколько социально-психологический типаж, если не один на всех, то, во всяком случае, эти люди очень схожи ограниченностью, философской косностью; впрочем, вполне могут добиваться солид-

ных успехов в той или иной интеллектуальной области: отсутствие метафизической системы тому вовсе не помеха.

Таким образом, ценностное сознание людей типа Лагарпа строилось не как самодостаточная сущность, а на «противоходе», отталкиваясь от недостатков и безобразий окружающего мира. Безобразия были отправной точкой мысли – немудрено, что такую мысль вело путями извилистыми и сумеречными. Лагарпа (и многих других) они научили благоговеть перед античностью: классические Греция и Рим представлялись золотым веком, а слова «республика» и «демократия» превратились в некие условные сигналы, действующие на молодых либералов как генеральские эполеты на прапорщиков и подпоручиков. То, что в тех античных республиках и демократиях часть людей людьми не считалась, что этих людей можно было продавать, истязать и убивать – законно, по всем правовым канонам! – прапорщиков от философии совершенно не смущало. Ну, убили, ну изувечили – так ведь по закону же, а не по произволу. Что в том плохого?..

Французский историк Ленотр писал об этом так:

*«Невозможно и определить, какая для ответственности падает на тогдашнее легкомысленное преклонение перед античным миром в создании психики людей революции! Эти господа судили не Людовика XVI, а древнего «тирана». Они подражали диким добродетелям Брута и Катона. Челове-*

*ческая жизнь не в праве было рассчитывать на милость этих классиков, привыкших к языческим гекатомбам» [91].*

Или вот ещё цитата, иллюстрирующая проблему – с другой мировоззренческой позиции, довоенно-советско-марксистской; здесь позиция «просветителей» критикуется за совсем иное, и тем более закономерно, что критика ведёт к практически тем же выводам:

*«За исключением таких образцов человеческого общежития, как Греция и Рим, всё остальное в истории представлялось просветителям как плод дурного ума, как неразумная случайность, а современность рисовалась им в виде странной смеси добродетельных побуждений со стремлениями к грязной наживе. Подобным низким стремлениям они сочли возможным противопоставить только стоическую мораль и идеал чувственного самоограничения. Этот стоицизм выражен и в учении Винкельмана об «идеале» как «тихом величии» (stille Grosse), отвлечённом, подобно античной статуе от повседневно-эгоистических и чувственных влечений отдельных индивидов.» [т.9, 329]*

Попутно заметим, что стоицизм как мировоззрение – Эпиктета или Марка Аврелия – глубже и интереснее «просветительства», ибо он, как бы там ни было, опирался на разумение несколько странно понимаемого, но всё-таки Абсо-

люта – о чём ещё будет сказано...

Впрочем, не в античности как таковой, конечно, дело. Она здесь не причина, а симптом. В пределах ценностной относительности нет сущностей как таковых – они присутствуют там лишь в сопоставлении с чем-то: сущность и противосущность, тезис и антитезис... что практически никогда не завершается синтезом. Если тот же Лагарп обрёл суждение: «современный мир плох» (аргументация прилагается), то вместе с этим не мог не обрести суждение противоположное: «значит, было в истории мира время, когда он был прекрасен». В данной оппозиции Лагарп не был оригинален: противопоставление плохой современности некоей волшебной эпохе – античности или ещё более баснословному «золотому веку» – было стереотипом торопливой и поверхностной мысли XVIII столетия, вздорным, но модным. Лагарп лишь усвоил этот штамп вместе со многими другими.

Теперь, с дистанции в двести с лишним лет дореволюционный европейский век № XVIII не без оснований представляется каким-то легкомысленным. Бездумно веселились аристократы – «после нас хоть потоп»; кружили головы проходимцы вроде Калиостро или Казановы; болтали умники-верхогляды – им казалось так просто переделать мир на основах разума и права... Разумеется, это не так, это скорее карикатура, чем картина: для большинства людей жизнь – трудовые, серые будни, что в XVIII веке, что в XXI-м. Но ведь карикатура, как известно, суть гипербола правды, и по-

тому на неё стоит взглянуть всерьёз. Властители дум и жизней человеческих частенько не сознают той ответственности, что на них лежит.

Видимо, не сознавал её и Лагарп, когда вдохновенными речами, подобно Орфею, очаровывал юношей. Да что Лагарп, сама Екатерина просматривала конспекты его лекций и нахваливала их... Однако, идиллия такая продолжалась до поры, а когда эта пора пришла, долго объяснять не надо: когда во Франции начала рушиться монархия.

Сначала, кстати говоря, сведения о парижских беспорядках в Петербурге восприняли если не со злорадством, то с ехидством и острословием... Между прочим, цесаревич Павел, к тому времени вполне взрослый человек, оказался проныцательнее матушки и вольтерьянствующих царедворцев: он распознал в этих беспорядках признаки грозы – а вот прочие спохватились лишь тогда, когда гром грянул.

Но спохватились-таки. Лагарп же своих убеждений не менял и симпатий к революции не скрывал. При дворе ему стало тужовато. Потом во Франции дело быстро покатило к вопиющим безобразиям, начались террор и дикая «дехристианизация» – присутствие близ императрицы такого человека, как Лагарп, стало немислимым. В 1794 году, когда безумие террора ужаснуло даже и самих безумцев, Лагарп был уволен от должности наставника; впрочем, с полным пиететом, в должности полковника и с очень крупным единовременным пособием. Какое-то время он – видно, не так-то легко

отвыкать от придворной жизни! – пытался восстановить себя близ трона, однако, ничего из этого не вышло. В 1795 году Лагарп покинул Россию.

Не навсегда; и отношения с Александром на этом не прервались, хотя, конечно, столь близкой дружбы, как в юности одного и расцвете лет другого, больше не было никогда. Александр вырос, мужал; Лагарп, перевалив через пик своих политических успехов, стал стареть, причём именно «морально устаревать»: новый век нёс с собой, новую, сложную, быстро меняющуюся жизнь, а бывший царский наставник всё пребывал в плену обветшалых схем. Самодержец остался благодарен учителю за те давние детские впечатления, однако убеждения его изменились кардинально, произошла переоценка ценностей, и вдохновитель юности вместе с этой унесённой годами юностью и скудной низкопробной философией отошёл для Александра в давно прошедшее прошлое, *plusquamperfectum*.

Но это сделалось много лет спустя...

Вернувшись на родину, Лагарп с головой ринулся в политику. К этому моменту новорождённая Французская республика занялась «экспортом революции», одним из объектов экспорта стала Швейцария – а Лагарп, ясное дело, тут как тут, в первых рядах.

Вот ведь казус, достойный эпического пера: очень часто те политические силы, что находясь в оппозиции, громче всех требуют свобод и прав, захватив власть, немедля начи-

нают эти права истреблять. Подчинив Швейцарию, революционеры сразу отменили конфедерацию: страна превратилась в унитарное государство, так называемую Гельветическую республику (гельветы – древнее кельтское племя, некогда населявшее эти места) во главе с директорией – группой диктаторов, в числе которых был и Лагарп. Собственно, эта Директория была марионеточным правительством, полностью зависимым от Директории парижской. Обе они друг друга стоили, и граждан Гельветической республики обложили такими налогами, поборами и контрибуциями – для «дела свободы», разумеется! – что несчастным «освобождённым» просто никакого житья не стало.

В довершение всего члены гельветической Директории переругались и между собой. Лагарп между прочим явил себя незаурядным интриганом (годы при дворе даром не пропали): он фактически узурпировал власть, пользуясь поддержкой Парижа. Но тут и «большой», французской Директории пришёл конец: Наполеон разогнал это бесславное заведение, воцарился сам, стало ему не до швейцарских дел – своих забот выше головы [89].

Лагарпу в сложившейся ситуации не осталось ничего иного, как бежать во Францию – во времена консульства она всё-таки по инерции считалась ещё революционной, да собственно все властные места и занимали вчерашние революционеры, успешно растающие в новую жизнь. Они и пригрели дезертира. Но политическая его карьера на этом, по существу,

закончилась.

То, что Александр не забывал своего любимого учителя, переписывался и встречался с ним, делает императору честь. Пребывание на троне выветрило наивные иллюзии юности – но в том, что зрелый Александр, самодержец, политик и военачальник, сохранил глубокий, серьёзный интерес к «вечным» темам – есть и Лагарпова заслуга, несомненно. Духовные поиски русского царя приняли сугубо религиозный, христианский характер; вряд ли таковой была воспитательная цель Лагарпа, но тем с большим почтением мы можем оценить самого Александра: он сумел ответственно отнестись к мировоззренческим вопросам, по сути, проявил к ним философский подход. Он сохранил уважение к тому здравому и позитивному, что в просветительской идеологии было – и остался за это благодарен ей в целом и Лагарпу лично. Ну и, очевидно, не прошли всё же даром уроки Самборского, только действие их оказалось замедленным. Зёрна долго лежали в негостеприимной сухой почве, но дождались-таки живительной влаги и проросли.

Можно ли утверждать, что будущее актёрство Александра («в лице и в жизни арлекин»), зарождалось уже тогда, в детстве и ранней юности, и что тому способствовали его педагоги, чьи уроки давали даровитому ученику противоречивую информацию?.. В какой-то степени – не исключено. Возмож-

но, эта самая информация, ещё не осознаваясь как противоречивая, уже залегала где-то в разных уголках мозга... И всё-таки это не главное. А вот то, что корни лицедейства берут начало в детстве – совершенно так.

Юность царевича состояла, разумеется, не из одних учебных занятий, даже большей частью не из них. Так уж ему повезло – или, напротив, выпала беда?.. – родиться в «большом мире» политической власти. Но вот его младший брат Николай, тоже будущий самодержец, родившийся в том же самом мире, вырос совсем иным человеком! То, что в одной и той же семье вырастают разные дети, конечно, не удивительно, случается такое как во дворцах, так и в хижинах... Впрочем, разговор о загадках индивидуальных свойствах человеческих характеров неизбежно заведёт в непроходимые психологические дебри. А вот непосредственно воздействующая на личность среда: родители, близкие, место, время – это на виду, это мы можем рассмотреть и сделать кое-какие выводы...

Обстановка Екатерининского двора была нездоровой.

Собственно, вся придворная жизнь такова, как бы ни назывался этот двор: императорским, королевским, президентским, или же ЦК КПСС. Близость власти и денег – то есть, конечно, власти, ибо она сама собой означает контроль над огромным количеством денег, являясь таким образом специфичной экономической категорией – разлита в воздухе дурманом, ароматом белладонны, от неё люди шалеют, взор

меняется, меняются пульс, частота дыхания, состав крови...

Но и это, конечно, не является неким универсальным, всё объясняющим фактором. Да, в «большом мире» своя атмосфера, вернее, стратосфера. Но и в ней люди разные не только потому, что разные они от рождения – что суть аксиома. И стратосфера не одинакова.

Екатерина – даже Великая! – была женщиной. Власть женщины: хорошо это или плохо? Да так же, как и власть мужчины: и плохо и хорошо. Только плюсы и минусы другие.

Несложная психологическая закономерность: лезть, даже примитивная, на женщин действует неотразимо, и на умных, и на очень умных в том числе. И на великих. Двор Екатерины кишмя кишел никчёмными людишками: пройдохами, авантюристами или же просто низкими шутами, вроде упомянутого Пушкиным «Сеньки-бандуриста» [49, т. 7, 174] [С.Ф. Уварова; между прочим, отца будущего министра просвещения С.С. Уварова, автора знаменитой триады «православие – самодержавие – народность» – В.Г.] или незабвенного Максима Петровича из «Горя от ума» – фигуры собирательной, но благодаря Грибоедовскому гению совершенно реальной. Да, такая публика при власти – печальная издержка мироустройства, но дамское правление, особенно самодержавное, плодит подобных деятелей в ещё большей пропорции.

Разумеется – о, разумеется!.. – императрица умела привлечь к себе блестящих, талантливых, дельных людей. Митрополит Платон, Потёмкин, Безбородко, Суворов, Румян-

цев, Сумароков, Фонвизин, Державин, многие другие дипломаты, полководцы, мореплаватели, литераторы, учёные... Без них Россия никогда не смогла бы стать тем, чем стала. Но и никогда, пожалуй, российская власть не обростала таким количеством бессмысленных ничтожеств, как при «бабьем царстве» XVIII века, и в Екатерининское царствование в том числе. Приходится признать, что слабость Екатерины к лести отчасти проистекала из другой её слабости: пушкинское эпиграммическое «немного блудно» – всё-таки очень деликатная формулировка. Блудно было много и даже очень много.

Опять-таки смягчающее обстоятельство: страсти человеческие остаются страстями и на самых верхних социальных этажах, слабость эта, наверное, не самый тяжкий грех, и державные мужчины отличались и отличаются подвигами во владениях Эроса не в меньшей, а то и в большей степени. Однако, мужскому эросу промискуитет свойственен физиологически, женская же сущность по природе должна быть более консервативной. А вот Екатерина частенько злоупотребляла лёгкостью интимных сближений. Отсюда и пустые бездари, вдруг выскакивавшие в фавориты, а с тем и в эпицентр большой политики: Зорич, Ланской, Дмитриев-Мамонов, Зубов... Позолоченный мусор – они мигом тянули к себе своих дружков, таких же мелких прилипал, к тем тут же устремлялись их приятели... в итоге имела место цепная реакция, отягощавшая элиту некачественным кадровым мате-

риалом.

Всё это подрастающий великий князь видел и сознавал: в пределах юношеского разума, но и этого хватало. Можно не сомневаться, что он, бабушкин любимец, потенциальный наследник, служил объектом интриг со стороны фаворитов, фаворитов фаворитов, многоопытных придворных дам... Что уж там говорить – вдохновенные мифы Лагарпа, эти «моральные и политические сказки» смотрелись волшебной страной за тридевятью землями, прекрасной и волнующей – сравнительно с неприкрытым фарисейством двора. Конечно, чуткий, даровитый юноша грезил Лагарповыми утопиями. Грезам со временем пришёл конец, но добрые чувства к воспитателю воспитанник сохранил навсегда – видимо, так выгодно отличался швейцарец от «Сенек-бандуристов» и «Максимов Петровичей».

И ещё одно обстоятельство.

Мы знаем, что насколько Екатерина оказалась хорошей бабушкой, настолько же она была плохой матерью. Нет, она не была легкомысленной, беззаботной и разбросанной, какими обыкновенно плохие матери бывают – конечно, это не про неё. Но она не любила своего сына, Павла, держа его в постоянном напряжении и даже страхе.

Отчего? Не стоит пересказывать сплетни, даже если они и правдоподобны. Но несомненно, что-то глубинное, тяжкое, психогенное там было. Павлу Петровичу при царствующей матери жилось так, что не позавидуешь. Он боялся её, хо-

тя вряд ли она угнетала его как-то сознательно и изошрённо – в это не верится. Презирала, насмехалась, унижала – да, в это поверить легко. Наверняка бы не заплакала, случись что с сыном... Но мелочная мстительность не в её характере. Скорее, она просто не понимала, что сын страдает, да и просто не желала того понимать. Перед ней ежедневно вставало неисчислимое множество колоссального масштаба проблем, и среди такого сонма забот неудачный, погружённый в какие-то совершенно не понятные ей размышления наследник престола воспринимался лишь как одна из досадных помех. А с рождением двух внуков и эта помеха показалась императрице потенциально устранённой. Сын, посчитала она, нейтрализован, духовно подавлен, и всё что ему нужно – мирная жизнь в своей резиденции в Гатчине.

А это было совсем не так. Сын вырос человеком способным, волевым, с романтической душой, с сердцем, открытым «мирам горним», что, правда, иной раз ввергало его в какой-то нелёгкий мистицизм. Вообще, что-то было сбито в нём, хорошую в целом программу где-то заедало, и она вдруг ни с того ни с сего выдавала нечто непредсказуемое. И тут, наверное, нет смысла гадать, откуда такие «неожиданные реприманды»: наследственность ли виновата, трудная ли жизнь... Личность человека складывается из огромного, неисчислимого множества факторов, нюансов, мелочей – в этом психоанализ прав. Пустячный вроде бы случай, мимолётный поступок, невзначай оброненное слово в раннем,

раннем детстве, к зрелости вырастает в привычку, склонность, характер... а всё вместе это чертит линию судьбы.

Впрочем, все эксцентричности Павла так бы и канули в Лету, не окажись он на престоле – отчего и сложилась у правления императора Павла I репутация в чём-то незаслуженно, а в чём-то заслуженно трагикомическая, несмотря на все субъективно ценные начинания.

Нет, удивительный был всё-таки человек Павел Петрович Романов! Натура вроде бы твёрдая, целеустремлённая – но с роковой какой-то трещиной. Искренне стремившийся делать благо и делавший нелепости, нелепые тем более, что характер Павла Петровича в основе был цельным. Вот, вероятно, главное различие между ним и его первенцем: тот был раним, туманен и уклончив... или, вернее будет сказать, что его цельность имела иной мировоззренческий характер, более сложный и оттого была более уязвима. Правда, Александр ценой огромных издержек сумел сделать так, что эта система, несмотря на сложность и уязвимость, оказалась всё же более устойчивой...

Павел твёрдо сознавал, что он настоящий, легитимный император – в потенции, правда, а вернее сказать, как бы во временном изгнании; но истинный, не узурпатор, не похититель престола, как маменька. А идею монархии он, можно не сомневаться, воспринимал всей душой – и гораздо более в метафизическом, нежели в юридическом смысле. Его-то духовным наставником был как раз архимандрит Платон,

впоследствии митрополит: уж он-то умел внушать должное. Массонские же происки, сплетавшиеся вокруг наследника, усугубляли в нём (может и вопреки их инициаторам?..) духовное рвение. Монарх незримой прочной нитью связан с Небом – Оно ведёт, Оно хранит, и значит, что бы ни было, рано или поздно он, истинный монарх, должен воцариться. Небо не допустит несправедливости!..

Эта идея жила в наследнике, несмотря на страхи и сомнения. И он жил под её светом. Он готовился. Мать подарила ему Гатчину: пусть тешится, несчастный. А он не тешился. Он готовился всерьёз. Он знал: его час пробьёт.

И он не ошибся.

Предвидел ли это Александр? С достоверностью сказать трудно. Он известен в истории своим тяготением к высокой мистике – но это пришло к нему много позже, в зрелости... К тому же, разумеется, он не был так мистически одарён, как известные его современники: Серафим Саровский, монах Авель (Васильев). Но даже не предвидя – предположим! – ровно ничего, юноша Александр не мог не замечать эту отцовскую силу, его если не убеждённость, то твёрдую готовность принять волю небес. А вместе с тем юноша видел, что бабушка год от года стареет, дряхлеет, и Бог ведь каким боком может выйти дальнейшее... Как ему, хоть бы и в ранге императора, оставаться один на один с отцом? Вопрос!.. Конечно, хорошо бы – ах, как хорошо! – жить в утопии, где царит свободный разум, справедливые законы, всё устрое-

но и уравновешено – иначе говоря, в той стране, о которой так чудно, очаровательно, волшебным образом рассказывает мсье Лагарп... Но вот ведь незадача: кончается его урок, и исчезает сказка, и надо опять жить в этом грубом, трудном, надоевшем мире, со враждою бабушки и отца, с наглым Потёмкиным, с оравой его подхалимов, с фальшиво любезными придворными, каждому из которых что-то надо, и каждый нашёптывает, науськивает, доносит на других... а приходится всем им улыбаться, делать милый вид – словом, играть опостылевшую роль в дрянной пьесе.

Таким образом и формировался уклончивый характер будущего самодержца. Власть и притягивала и страшила его – он, пусть в потаённых, никому не высказываемых мыслях осторожно примерял на себя корону; не то, чтобы жаждал того, скорее, наоборот: то была непростая, невесёлая задумчивость. Всё же вероятность короны очень и очень могла состояться – и как тогда быть?.. И это ведь только думы! А в ломких придворных конъюнктурах юному принцу было совсем неуютно.

Так шло время, день за днём, год за годом. Оно менялось. Французская революция, к которой поначалу в Петербурге отнеслись как к занятой диковине, быстро показала свой бешеный нрав, отразилась в оккупированной Польше восстанием Костюшко... и тогда в Петербурге испугались, засуетились – хотя пугаться надо было, конечно, раньше.

Пошла реакция. Екатерина с некоторым запозданием со-

образила, что чересчур заигралась в вольнодумство. Впрочем, никто ведь из тех, образованных и просвещённых людей того века и представить не мог, что революция будет такой страшной – по наивности, недалёковидности ли, но не мог. Не знали, что в красивом кувшине сидит ужасный джинн. Потом, годы спустя, идейные потомки вольтерианцев неохотно признавали, что огромные тёмные массы простонародья («чернь») не были готовы, якобы, к свободе, что процесс должен быть осторожным, постепенным, длительным... В общем-то известный здравый смысл в таком духовном торможении есть, но принципиально это ничего не меняет.

Французская революция – и новое напряжение сил беспрестанно воюющей и подавляющей восстания Российской империи и самой Екатерины. А ведь она уже тридцать лет на троне. Тридцать лет! – подумать только. Здоровье начинает подводить. А тут эта смута на всю Европу, свои доморощенные якобинцы, да всякие пророки, юродивые, смутьяны... Царица спешит.

Великий князь не может взойти на престол неженатым: это моветон. Александр почти мальчик, но время не ждёт. Бабушка спешно находит ему невесту. Принцесса Луиза из курортного города Баден-Баден ещё моложе: жениху шестнадцать, ей четырнадцать, в наше время свадьба не могла бы состояться. Но тогда загсом была сама императрица, Луиза стала Елизаветой Алексеевной, и свадьба состоялась по всем православным обрядам. Отметим, что в очередной раз сумел

«попасть в случай» при этом Гаврила Романович Державин: воспел юную чету в обличьях Амура и Психеи («Псишей» в тогдашней транскрипции)... Торжества длятся две недели.

В это время во Франции царит кошмар террора, Европу бьёт в лихорадке, империи, королевства, герцогства сбиваются в коалицию, на южных рубежах России после Ясского мира не очень спокойно, на западных – в добитой вроде бы Польше ещё неспокойнее... Время Екатерины тает, сжимается, убегает в никуда – такая вот теория относительности. Царица жаждет успеть всё.

Теряет лидерство Потёмкин. Вокруг трона взметается вихрь кандидатов в фавориты: «закружились бесы разны...» Фортуна попадает пальцем в Платона Зубова, юношу необычайно красивой наружности, и придворные остроусловы ядовито нашёптывают, что наконец-то на старости лет государыня обрела «платоническую» любовь.

Да, век Екатерины стремительно исчезал. Финал игры – а на лице судьбы всё та же непроницаемая маска, что в начале партии. Но царица надеется, что заслужила благосклонность таинственного партнёра: ведь ею воспитан будущий правитель России, благородный просвещённый муж – возможно, это самое главное, самое значительное достижение императрицы Екатерины II, важнее всех завоеваний и реформ. Ещё б только немного времени, немножечко, совсем чуть-чуть!..

А что же сам «благородный муж»? Для него эти последние годы «бабьего царства» были какими-то сумбурными. После устранения Лагарпа он практически забросил учёбу: без любимого наставника она стала ему неинтересна. Он женат – поначалу это показалось занятым, необычным, чувственно-пряным, но быстро наскучило. Не то, чтобы в молодом человеке не проснулись ещё мужские волнения – они то как раз имели место, однако, много ли нужно времени, чтобы их утешить? А кроме того они у великого князя проецировались более на дам и девиц взрослых, нежели на это юное существо... Тут ещё случилось нечто странное: к великой княгине Елизавете вдруг стал проявлять внимание Зубов [73, 94] – и так же внезапно отступился; вероятно, испугался утратить положение фаворита.

В это самое время Александр сближается с людьми, впоследствии ставшими его многолетними соратниками и друзьями в годы царствования: Адамом Чарторыйским, Виктором Кочубеем, Александром Голицыным, Павлом Строгановым. Всё это были молодые люди своего времени: острые, с блеском, с авантюрной жилкой – этакий сплав Чацкого и Д'Артаньяна. Их жизнь была полна приключений; все они, разумеется, были поклонниками «свободы» в самом смутном толковании этого слова. Французская революция? Стро-

ганов принял в ней самое активное участие: штурмовал Бастилию, вступил в Якобинский клуб, завязал шумный роман с inferнальной «звездой революции» Теруань де Мерикур... Невесть чем бы кончились его парижские похождения, если бы не пришлось отбыть в Россию по строгому приказу самой Екатерины, посчитавшей, что немислимо русскому аристократу брататься с одичалой чернью. Императрицу граф послушаться не мог (к диковинным извилинам его судьбы мы ещё вернёмся – они того стоят!).

Но никого из этих людей кровожадным зверем не назовёшь. Просто они горячо любили «свободу» и мечтали избавить мир от «тирании», принимая свои неясные понятия о том и другом за истину. Теоретическое республиканство не мешало Голицыну служить ловким царедворцем, а Кочубею – имперским дипломатом; с годами они сделались вполне здоровыми, солидными консерваторами. Правда, про Строганова этого не скажешь – он как-то так и не сумел остепениться... Но, в общем, все они в юности были неплохими парнями, а горячность и путаница в головах свойственны молодёжи всех поколений. В те времена вся эта компания вместе с Александром занималась необязательной болтовнёй, находя в том духовную пищу – что было совершенно безвредно и бесплодно.

Примыкал к кружку свободных мыслителей и человек постарше – Николай Новосильцев, отличавшийся от придворных радикалов более трезвым взглядом на вещи. И, видимо,

не в возрасте дело: скорее, по характеру он был сдержан и благоразумен; это помогло ему впоследствии не только достичь высших постов в имперской бюрократической иерархии, но и удержаться там надолго, пережив ещё двух императоров.

Предчувствуя трудные дни, Александр уклонялся как мог от официального титула наследника: догадывался, что случись такое, явной конфронтации с отцом он может не выдержать. И не только потому, что он слабее, хотя и поэтому тоже. Но прежде всего по причине самой простой, настолько простой, что опалённой, закалённой, огрубелой за годы большой политики Екатерине такая причина, вероятно, даже не приходила в голову: Александр любил отца.

Это не значит, что нормальные человеческие чувства были императрице чужды. Но любить такого человека, как Павел?!.. Этого она, видимо, осознать не могла. А ведь Александр помимо отца любил и её, бабушку – и значит, не мог открыться ни тому, ни другой. Клубок противоречий, недоверий, чьих-то корыстных и недобрых умыслов сплёлся в такой Гордиев узел, что несмотря на юность, Александр, подобно древнему своему тёжке, понял: этот узел уже не развязать. Только разрубить.

Правда, если Александр Македонский это сделал сам, то у Александра Романова такой возможности не было. Лезвием, способным рассечь его узел, могла стать лишь смерть кого-либо из двоих: Екатерины или Павла. Нелегко такое осо-

знавать, и Александру, конечно, очень хотелось бы, чтобы проблема как-нибудь растворилась сама собой... но он понимал, что это просто пустая мечта. Всё, что оставалось молодому царевичу – тянуть время, изворачиваться, ловчить и ждать...

И он дождался.

То, что Екатерина заслужила титул «Великая» – бесспорно. Она казалось, успевала всё, и всё у неё как будто получалось: управлять, воевать, строить, философствовать, основывать академии, университеты и журналы, писать законы, статьи и пьесы... Она пробыла на престоле 34 года – третий результат за всю тысячелетнюю историю России (больше, да и то формально, лишь Иван Грозный и Пётр I). За время её правления международный авторитет страны возрос неизмеримо, стратегическое положение за счёт побед армии и флота укрепилось могущественно. Проблемы? Их меньше не стало, ни внешних, ни внутренних – но их и никогда не бывает меньше. Так что – слава Екатерине Великой!..

Всё это правда. Но правда и в том, что Екатерина была прежде всего политиком, то была её стихия. Политика вообще не филантропия, а уж Екатерину никак не назвать самым щепетильным и стеснительным человеком в этом морально шатком деле. И весь внешний блеск империи достигался крестьянским и солдатским горбом – трудом и кровью простолюдинов, которых не жалели, точнее, просто не думали о них, как о людях, об их судьбах, радостях, печалях...

Судьба, и радость, и печаль – это для придворных, вельмож, ну, просто для дворян. А кто там внизу, далеко от трона – с такой высоты царица не различала. Она не была жестока к этим людям, нет. Просто не замечала и не различала их.

И Бог весть почему, судьба хлётко, с какой-то сверх меры издевательской фантазией, решила закончить столь пышное царствование столь безобразной сценой... Теперь Пушкинскую эпиграмму можно привести полностью:

Старушка милая жила  
Приятно и немного блудно;  
Вольтеру первый друг была,  
Наказ писала, флоты жгла  
И умерла, садясь на судно.

Под «судном» здесь имеется в виду известное санитарно-техническое сооружение...

Удар (инсульт по нынешнему) и падение с «судна» произошли утром 5 ноября 1796 года. Пушкин допускает маленькую поэтическую вольность: царица всё же умерла не на «судне». Ещё почти двое суток прошли в тяжких страданиях – и вот, в ночь с 6 на 7 ноября Ея Величество Императрица Всероссийская Екатерина II отошла в вечность.

Со смертью Екатерины женское царство, процветавшее на Руси едва ли не весь восемнадцатый век, закончилось навсегда. Пока – во всяком случае. Что будет дальше, неизвестно, но как 7 ноября 1796 года вокруг российской власти нача-

лись, так и по сей день идут мужские игры.

# Глава 2. Сын, отец и тень бабушки

## 1

Изо всех русских монархов Павел взошёл на престол самым зрелым мужчиной – стукнуло ему целых 42 года. По нынешним временам возраст для правителя юношеский, но тогда и продолжительность жизни была много короче, чем сейчас, и выросли люди куда раньше... Учитывая, что Романовы вообще не долгожители, царствование Павла в принципе не должно было быть долгим – оно же по известным причинам стало совсем коротеньким; не самым кратким в отечественной истории, но одним из самых.

Однако, эти несколько лет вовсе не стали бесследным мигом, промежутком, каковыми чаще всего бывают подобные исторические эпизоды. Кто сейчас помнит о таких наших правителях, как Фёдор Алексеевич, Пётр II, Константин Черненко?.. Да практически никто; во всяком случае, в живой активной памяти большинства людей вряд ли фигурируют эти личности. Но Павел I – это кипы исследований, легенды, мифы, книги, кинофильмы, тайны! Почему так? Отчего те четыре с половиной года стали эпохой?.. Об этом и пойдёт речь.

## 2

Первый ответ, который в голову приходит, совершенно естествен: видимо, Павел был незаурядным человеком. И это правда. Но не вся. Он был не только незаурядной, но трагической, печальной личностью... Надо сказать, что судьбы талантов складываются очень по-разному. Есть счастливые: их талант чудесно попадает в такт с окружением, и тогда окружения-то будто бы и нет – оно послушно стелется под беспечного счастливчика. Не надо понимать слово «беспечный» как иронию: в данном случае оно говорит о высшей степени благосклонности Неба к человеку – что, впрочем, не гарантия земного благоденствия... Жизнь человеческая слишком сложная материя.

Почему и каким образом определяется и создаётся эта гармония таланта и обстоятельств? – вопрос, на который философия отвечает вот уже не первое тысячелетие; особенно стойки потрудились на данном поприще... А ответа так и нет, точнее, сколько мыслящих личностей, столько и ответов. И будет ли когда-нибудь один на всех?..

Судьба Павла Петровича Романова сложилась трагически.

Именно так. Назвать её неудавшейся, пожалуй, было бы натяжкой. Миллионы людей на этом свете, прожившие свои жизни впроголодь, в нищете и неприкаянности, наверняка

представить даже себе не могли, что существует такая роскошь, в коей родился и жил Павел Петрович. Да что там голодные, сырые, убогие! Буквально наперечёт, единицам изо всех прошедших и идущих по Земле, довелось испытать власть и могущество, равные власти этого человека.

Да только власть и могущество – не счастье.

Впрочем, сказать, что в жизни пятого русского императора счастья не было совсем, тоже неверно. Были, конечно, были мгновения надежды, веры и любви – прикосновения к счастью... Но это вправду были мимолётные касания, искорки, что вспыхивали и гасли в сумерках «большого мира», где Павлу, как и его детям, выпало родиться.

Его-то жизнь как раз явила собой нагляднейший пример расхождения между способностями и окружением. Вероятно, из него получился бы неплохой – а может, и замечательный, кто знает? – богослов, священник или философ. Дар душевной отзывчивости, дар чувствовать добро – вот, очевидно, главный, самый ценный талант Павла Петровича. Люди, столь одарённые, наверное должны быть монархами в полном, истинном, сакральном смысле слова... Должны быть – но в земном бытии смысл этот размывается, растворяется, и вместо идеальной монархии выходит нечто, лишь в большей или меньшей степени ей подобное, и чаще, увы, в меньшей. Нечего и говорить, что правление как бабушки Павла, Елизаветы Петровны, так и матушки его – на освящённую Божественной санкцией власть правды и милосердия не походи-

ло ни в малейшей степени... Елизавета о том, похоже, вообще не задумывалась, а эпоху Екатерины можно назвать победоносной (по внешним показателям!), саму Екатерину – отличным, эффективным руководителем, но вот уж кем её никак не назовёшь, так это воплощением монархической идеи. Умная, властная, жёсткая, насмешливая, циничная – совокупность качеств, наверное, удачная для топ-менеджера, но слабо сопоставимая с представлением – перефразируя Конфуция – о «благородной жене», матери, защитнице и наставнице подданных.

Не стоит строго судить Екатерину. Она бесспорно хотела видеть Россию мощной, преуспевающей державой – и во многом этого добилась. Совершалось это непомерным напряжением, трудом и бедностью народа: это верно, и тут восторгаться императрицей не за что, но всё-таки она действовала не так страшно и дико, как, скажем, Пётр I, достигавший той же цели... Правила же дворцовых игр, в том виде, в каком они сложились к середине XVIII века, тоже не Екатерина придумала. Она охотно стала в них играть и преуспела – желающих поучаствовать было много, а выиграла именно она.

А вот её сын этих правил не принял, вместе с пошловатым вольтерьянским скептицизмом, который плоским натурам казался блистательно остроумным. Павел – человек, быть может, не «быстрый разумом», подобно Ньютону, однако, духовно, религиозно одарённый, в этом нет сомнений

(правда, свою одарённость он не сумел реализовать, но это другая тема, к которой мы обратимся позже)... Пошлость, ложь и грязь придворной жизни он воспринимал совсем не так, как царедворцы, из коих одни были простодушно рады тому, что они при кормушке, другие упивались «чашей бытия»: интриги, тайны, страсть и власть... а иные – «мудрецы» – несли бесстрастно-надменную улыбку сфинкса на устах: всё, мол, видим, всё сознаём, сами грешим... но что ж делать? такова жизнь. Мы живём ею, только и всего.

Павел, в силу своей искренности и честности так жить не желал. Высокое предназначение монарха он сознавал всерьёз – нашлись воспитатели, которые сумели внушить ему это. И уж, конечно, мысль о том, что он-то, Павел Петрович, и есть истинный, законный император, прочно овладела им, несмотря на то, что он совершенно реально отдавал себе отчёт в том, при власти матери ходу ему не будет. Но...

Но синтез этой мысли и идеи сакральности монархии дал закономерный результат: правда восторжествует. Должна восторжествовать. Не может не восторжествовать! Не может быть того, чтобы настоящий самодержец остался вне трона. Это не по-Божески.

Так хотел верить Павел. Очень хотел! Но...

Но очень хотеть верить – это всё-таки не вера.

Вера – это особое состояние души, открывшийся духовный взор, те ландшафты времени и пространства, что обычному глазу не видны. Этот взор вместе со многим прочим

даёт и уверенность: человек не боится будущего, потому что знает его и к нему готов.

На Павла Петровича это не похоже...

Он будущего страшился. Убеждённость в том, что силы высшие поддержат, защитят законного монарха, перемежалась в нём с приступами малодушия и паники: а вдруг этого не случится?.. Значит – включалась сверх-логика – я всё-таки не настоящий. Подкидывай, подменяй! Вот ведь что особенно больно и досадно, что терзает сердце! Где уж тут величавость, простота и безмятежность духа, присущие обладателю истинной веры!.. Потому-то юного – а затем и не очень юного цесаревича и бросало из крайности в крайность, от веры к страху, от надежд к отчаянию, от любви к ненависти... А происходящее вокруг него только и делало, что расшатывало его душу.

### 3

Мы говорили уже, что обстановка Екатерининского двора была неблагополучной. Да, всякая власть живёт в нелёгкой ауре. Но когда власть – подлинная, реальная власть – находится в цепких женских руках, то аура эта обретает аромат едкий, пряный, очень особенный. И не только в банальном эротизме тут дело, хотя и в этом тоже. Однако, если б даже эротического мотива и не было, всё равно приходится признать иную природу интриганства. При дворе, возглавляемом женщиной, большие шансы на успешную карьеру имеют те мужчины, которые имеют нечто женоподобное в своей натуре.

Здесь необходимо пояснение. Речь вовсе не идёт о субъектах жеманных, плаксивых, слабовольных и т. п. Таким в политике не место. Но душа человеческая – субстанция сложнейшая, крайне причудливая, очень непредсказуемая... И у вполне волевых, жёстких мужчин с прекрасными деловыми качествами встречаются в характерах странные изгибы, присущие более женской, нежели мужской природе, и эти изгибы входят в незримое, но прочное притяжение с психикой царственной дамы. Возможно, она и сама о том не думает, но взор её бессознательно тянется в сторону подобных людей, и они при прочих равных условиях получают заведомое карьерное преимущество. Ну, а затем в действие вступает тео-

рия вероятности... и императорский двор отчасти превращается в паноптикум.

В подобной беспорядочной атмосфере и рос юный Павел. Понятно, что он, официальный наследник престола, весь был опутан липкой паутиной хитроумного политиканства. Разумеется, со временем нашлись добровольные осведомители: мальчик узнал много интересного: и что отец его умер вовсе не от «геморроидальных коликов», как сказано в официальном заключении; и что мать похитительница престола, что она, вероятно, думает и его, сына, убить, ей это ничего не стоит [73, 13]. Или не убить, так заточить в Шлиссельбурге, как несчастного Иоанна Антоновича... которого, впрочем, в конце концов тоже убили.

Надо полагать, что остороженнько рассказывая наследнику об этом обо всём, опытные интриганы умели прослезиться в должном месте, умели до боли зацепить детское сердце. Однако, вряд ли эти действия, вместе взятые, составляли единую систему. Просто разные деятели с разными целями снабжали юношу сведениями разной степени грязности и лживости – при том, что грязь и ложь так или иначе в рассказах присутствовали. Блуждала, и до сих пор имеет хождение, в числе прочих, версия, согласно которой отец Павла – вовсе не Пётр III, а тогдашний тайный фаворит Екатерины (ещё не царицы) Сергей Салтыков [36, 310]... Подобные «информационные потоки», иной раз, может, и без злого умысла со стороны информаторов, душевного здоро-

вья и спокойствия Павлу, естественно, не добавляли. Да что там говорить! Неокрепшую психику юноши рассказы царедворцев просто разрывали на части. Способный мальчик с богатым воображением пугался своей же возбуждённой фантазии, а та успешно подпитывалась пресловутыми «добожелателями»... И тут как нельзя кстати – куда же без них! – захлопотали, как летучие мыши, зашелестели вокруг наследника носители таинственного масонского глубокомудрия.

О влиянии масонства на Павла написано много, о масонстве как таковом ещё больше. Писания эти крайне противоречивы, пристрастны, эмоциональны – что совершенно естественно, когда речь идёт о социальной доктрине, задающей живые человеческие судьбы. Гуманитарная наука в принципе не может быть внемифологичной, это правда. Однако, главная трудность методологического характера здесь состоит в том, что чрезвычайно сложно уловить грань между мифологизмом как художественной правдой – и идейной предвзятостью; трудно остановиться вовремя, так, чтобы увлечённость, образность и стилистический блеск не превратились в манию, при которой под теорию подвёрстываются все факты подряд, как у человека, страдающего маниакальным бредом преследования или величия.

История тайных обществ – наверное, самая благодатная почва для расцвета подобных теорий. В том, надо сказать, есть особая, изошрённая такая справедливость: бурная, бьющая через край фантазия исследователей – вполне логичное продолжение фантастического антуража, коим окружают себя теневые деятели... Впрочем, действительно говорить о нейтральности в гуманитарно-социальном измерении можно лишь условно. Но тем более следует помнить о сдержанности и толерантности, когда речь идёт о столь слож-

ных, многомерных реальностях, ограниченно формализуемых. Неизбежный агностицизм в субъект-объектных отношениях не так беспощадно-очевиден в гуманитарной сфере, как это проявляется в точных науках (если взглянуть на них философским взором, разумеется!) – и тем коварнее. Тем труднее заметить неуловимое, непознанное, его странную игру с нами, полную причудливых изгибов, в каждом из которых так легко попасть впросак...

Понятно, что на этих страницах нет возможности подробно рассматривать социально-исторический феномен масонства. Поэтому далее будут изложены лишь выводы, к которым должно привести диалектическое, без крайностей изучение. Соглашаться, не соглашаться, дискутировать либо отвергать – полное право читателя, и остаётся надеяться, что уважаемый читатель этим правом воспользуется...

Итак, выводы.

Когда исследователи масонства говорят о его корнях, то непременно тревожатся тени пифагорейцев, катаров, тамплиеров... говоря вообще, членов мистических тайных обществ, имевших место в Европе в разные эпохи. Эта формулировка: «мистические тайные общества» – достаточно внятно очерчивает предысторию и суть предмета; речь идёт о скрытных собраниях немногих, поставивших целью достижение некоего духовного могущества в тайне от остального мира. Что, собственно, и определяет отношение непричастного «остального мира» к секретным мудрецам: от холодно-

вато-отстранённого неприятия до объявления беспощадной войны им всем, и масонам в том числе; ибо духовное могущество – вещь весьма опасная, обоюдоострая; не подкреплённая нравственно, она обращается в разрушающую и саморазрушающую силу.

Здесь может возникнуть довольно резонное соображение: если вспомнить раннюю историю христианства, то разве не подобные же тайные общества увидим мы? Небольшие группы людей собирались где-то в катакомбах, прятались, секретились... В чём разница?

Разница есть. Она – в исходной мотивации, определяющей этическую ценность учения. Первые христиане, таясь от враждебного к ним мира, не считали себя обладателями тех качеств, что возвышают их над прочими людьми, делают особенными – теми, кому доступно то, что другим знать незачем. Наоборот: они хотели, чтобы полнота бытия была доступна каждому, всем до единого, чтобы никто не оказался брошенным, несчастным, позабытым... В этом-то и заключалась упомянутая нравственная крепость! Христиане собирались, не думая о том, что они – элита. Они стремились изменить этот несправедливый мир любовью к нему, а если мир не понимал их, они терпеливо ждали, не отступаясь от своей веры, и мало-помалу их и в самом деле начинали понимать – понимать, что эти люди хотят всем настоящего, а не фальшивого добра, и многие из тех, прежде враждебных, сами становились христианами.

Разумеется, было бы ошибкой, опираясь на эту – несомненно, верную – посылку, идеализировать историю христианства. Часто благие намерения воплощались в действиях нелепых и даже безобразных; осознавая или хотя бы ощущая его идейную мощь, к христианству тянулись и тянутся (или отталкиваются от него), очень разные люди, отчего эту историю, в сущности, правильнее было бы назвать «околохристианской». Гностики, ариане, те же самые тамплиеры и масоны – все эти течения рождались именно около христианства, по разным причинам, это шло разными путями, иной раз открыто противопоставляло себя – но самое противопоставление говорит о том, что люди, это делавшие, находились в идейной орбите христианства, создававшего колоссальную гравитацию любви.

У обществ сектантского типа (при очень разных конечных целях!) исходная психо-мотивация одинакова, причём и в языческом мире, и в христианском – что у пифагорейцев, что у тамплиеров с масонами. В данном смысле их духовное родство подмечено совершенно точно. Во всех этих случаях главная притягательная сила тайных обществ в том, что их члены испытывают неизъяснимое упоение превосходства над другими: они приобщены к великим тайнам, они – сила, власть!.. Да ещё власть-то какая: скрытая, неведомая, непостижимая! Причастность к ней волнует, будоражит куда острее, чем власть «просто так», банальная и рутинная, вроде чиновника в кабинете.

Это не значит, что все теневые секты одержимы жаждой овладеть миром, хотя по преимуществу целеполагание именно такое. Но нередко люди вступают в общества из самых чистых побуждений. Эти люди жалеют человечество, заплутавшее во тьме невежества – жалеют снисходительно и чуть брезгливо. А иногда и брезгливости никакой нет: только жалость и желание помочь. Но все такие люди точно знают, что человечество не готово к свету подлинных истин, к свободе, вообще не умеет самостоятельно мыслить – и потому-то они, тихие, незаметные мыслители, должны аккуратно, как поводырь слепца, вести этот неважный мир к его же счастью... И они со скромной гордостью возлагают на себя это бремя.

Вот в том и есть ключевая разница, при всевозможных исторических и индивидуальных нюансах. Суть великой религии – любовь, суть тайного союза – гордость. И это раз и навсегда ставит их по разным местам. Из гордости могут исходить благородные мысли и поступки, способные притягивать чистых душой людей. Ото всей своей чистой души они хотят творить добро, и творят его – но происходит это в ущербном этическом пространстве, безнадежно урезанном исходной мировоззренческой посылкой. Хорошие, честные люди, прельщённые таинственным могуществом, могут этого не замечать – но те самые рядовые, принижённые жизнью бедолаги, к которым и обращены благодеяния – о, вот они-то это всё прекрасно замечают!.. И отнюдь не всегда проникаются благодарностью к «избавителям». Одно дело, когда к

тебе идут с любовью бескорыстной, как равный к равному, и ты чувствуешь, что без тебя, оказывается, этот мир не полон – и совсем другое, когда кто-то, ласковый и важный, снисходит до тебя, и ты видишь всё своё ничтожество рядом с ним.

Душа наша действительно загадка. Милость человека высшего кем-то воспринимается как оскорбление – такое особо утончённое, под видом милости демонстрирующее превосходство одного над другим. И уж конечно, в чьём-то болезненном самолюбии вспыхнет невыносимая обида: для такого самолюбия нет ничего хуже, чем знать, что кто-то выше, умнее, мудрее тебя... а особенно, особенно! – то, что этот премудрый снизошёл до тебя и решил, куда тебя вести. Какая следует реакция – гениально описано в «Записках из подполья» Достоевского, хрестоматии патологически обиженного самосознания, пугливо прячущегося в глубине ничтожной личности. При этом герой «Записок...» неглуп – бывают умные ничтожества; они-то и есть самые несчастные среди них, именно из-за своего ума. Такой человек, ненавидя мир, ненавидя себя самого, но и питаясь болезненной любовью к себе, обычно забивается в свой одинокий угол, чтобы жизнь не трогала его – там, в углу, он изолирует себя от того, что может терзать больное честолюбие. Там можно как бы не замечать великих и успешных, будто бы их вовсе и нет на свете: от этого душе завистника спокойнее.

И вот теперь представьте себе, что непрошенная сила вторгается в угол, и подпольный философ вдруг лицом к лицу

сталкивается с теми, кто выше и мудрее его, кто отныне поведёт его к счастью. Что будет с ним?.. Да ясно, что: весь скорчится от ненависти и бессилия. Правда, будет при этом улыбаться, кланяться, благодарить... Наверное, и поплетётся туда, куда поведут. Но только счастья никакого не будет. Никому. Не может оно быть насильственным. И даже тайным быть не может.

Потому-то на общества типа масонских и обрушиваются проклятия и обвинения в чудовищных вещах, вплоть до сатанизма... Обвинения эти большей частью бессмысленны, но не беспочвенны, и они на масонские головы – поделом.

И ведь вправду речь шла о лучших побуждениях! А ведь возможность тайной власти влечёт к себе публику самую разнообразную, отчего и последствия влечения непредсказуемы – проявляются они лишь со временем. Тогда-то всё встаёт на места: лучшие понимают, что попали не туда, пронырливые – что как раз туда, куда надо; злобные – куда надо плюс осознают возможность излить свою злобу... Вариаций много. И результаты разные: организация становится либо преступным сообществом, либо обыкновенной политической партией, либо окостенелой скучной традицией, либо исчезает без следа... Процесс самый закономерный и самый банальный.

Нет нужды останавливаться на том, где, когда и как возникли первые масонские ложи. Важно отметить, что середина XVIII века – по разным обстоятельствам – сделалась

такой средой, где бактерии подобного сектантства расплодились невероятно. Люди мыслящие искали выход из мировоззренческого кризиса, в коем, по их мнению, застрял мир. Романтики пленялись призрачно-оккультным флёротом. Циники ловко угадывали, куда им внедриться с выгодой для себя. Негодяи торжествовали, предчувствуя открывшееся им поле деятельности в рядах секретных орденов... Обыватели морочили друг друга дурацкими слухами.

Не рискуя судить о моральных качествах отцов-основателей масонства, можно не сомневаться, что многие из вступавших в орден и на заре «обществ вольных каменщиков», и в более поздние годы, были людьми искренними, честными и безвредными. Трогательно читать, как некоторые из них отчаянно убеждали себя в том, что они-то и есть самые настоящие, самые верные христиане:

*«Учение св. Ордена, яко единое с учением Христовым, всегда было, есть и пребудет таинственным... для чего так же и преподаётся оно под символами и гзероглифами, как и Христос своё проповедывал народу в притчах; но сколько Иисус тайны царствия Своего открывал одним избранным своим ученикам, так и св. Орден, яко верная академия Христова, сообщает избранным токмо... таинства своя, состоящие в познании света природы и благодати, в познании времени и вечности».*

Так писал русский розенкрейцер З. Карнеев [15, 215]. Упрекать таких людей и валить на них грехи потомков – примерно то же, что обвинять изобретателей автомобиля во всех дорожно-транспортных происшествиях; хотя и с одним серьёзным отличием. Людям, взявшимся решать социальные проблемы, надо быть поосторожнее с грядущим – а значит, повнимательнее с настоящим, а именно с моральным базисом своих теорий. Ясно, что это не просто трудно, это невозможно трудно. Но другого пути нет.

Этическая и мистическая база масонства, конечно, не могла идти с христианством ни в какое сравнение, чего, увы, не замечали даже самые честные, самые искренние... А где нравственная шаткость, там и ушлые проходимцы. К середине XVIII века такой публики среди «вольных каменщиков» набралось без счёта.

Парадокс – но расчётливость и цинизм Екатерины безошибочно помогли распознать в увёртливом словоблудии масонов лукавство. Царица насмешливо прозвала их «шаманами». А вот Павел, душа возвышенная и романтическая, шаманства не разглядел. И дело тут, надо полагать, не в загадочной псевдомагической обрядности – Павел был слишком неглуп, чтобы принять это всерьёз. Скорее всего, масонское учение показалось ему возможностью воссоединения расколотого христианства. Сам факт раскола Павел, очевидно, переживал глубоко. Ведь не должно такого быть! – а оно есть... Значит, надо сделать так, чтоб не было.

Придворные же масоны, закружившие вокруг наследника свой тихоструйный хоровод, о том вряд ли думали. Им совершенно было всё равно, кто как молится, крестится, в какую церковь ходит и ходит ли туда вообще. Они лелеяли мечту видеть на престоле единомышленника, собрата – и разумеется, не только доморожденные конспираторы, но и их европейские братья по разуму, которые наверняка приветствовали и поощряли старания русских соратников. Да и Павел, видимо, являл благодатный материал: нервный, неустойчивый, впечатлительный романтик – как раз тот самый психологический тип, что лучше прочих поддаётся «нейролингвистическому программированию». А потом, Павел был действительно мистически чуток, его жизнь полна видений, странностей и вещей снов... Вот только – уж воистину сапожник без сапог! – самый главный, самый трагический момент своей жизни император так и не угадал.

Слово за слово, умелые ловцы душ человеческих, масоны уловили Павла Петровича в сети. Опытный прожжённый политикан граф Никита Иванович Панин, блестящий молодой аристократ князь Александр Борисович Куракин, за богатство и роскошные манеры прозванный «бриллиантовым князем» – они, и многие другие, окружая наследника, ткали невидимую ткань, и делали это достаточно успешно.

Куда смотрел духовный наставник Павла – архимандрит, а впоследствии митрополит, Платон?.. Для него, образованного и талантливое богослова не составило бы труда опровергнуть в полемике любые хитроумия. Почему же он допускал посторонние влияния на цесаревича? Некоторые исследователи с недоброжелательством считают, что Платон сам был тайным масоном – в качестве примера приводя знаменитый отзыв митрополита о Николае Новикове [70, т.2, 352]... Эта недоброжелательная сентенция не представляется убедительной, хотя бы потому, что профессионалу этическая несостоятельность масонства сравнительно с православием очевидна. Почему же тогда владыка проявил настойчивую многих снисходительность?.. Сложно объяснить это одномерной причиной. Во-первых, придворные заводи глубоки и темны, одной теорией тут не обойдёшься, и даже учёному теологу всего не разглядеть. А во-вторых – и, очевидно, в главных – Платон, вероятно, видел в окружавших его людях, и в Павле особенно, настоящий, без притворства поиск истины, который водит человека долгими путями, может кружить, кружить, кружить по дальним перепутьям... Правда, может так и не вывести. Но тут уж никто, кроме самого человека сделать это не в силах. Помогать блуждающим, конечно, надо, а вот тянуть, толкать их силою пустое дело. К истине каждый должен прийти сам – кому, как не православному иерарху понимать это! В нелепой мешанине масонства, розенкрейцства, иллюминатства и ещё невесть

чего Платон, человек воистину просвещённый и толерантный, очевидно, сумел разглядеть чьи-то юность, наивность, духовную жажду; видел, что пена идейной моды неизбежна, она схлынет. А семена правды прорастут, пусть и не сразу...

И оказался прав. Как в смысле историческом, так и в персональном. С годами цесаревич, а затем император Павел сумел критически отнестись к увлечениям юности и отделить зёрна от плевел. Что действительно позитивного есть в декларациях масонства – то, что оно рассуждает о единении человечества, то есть претендует на универсальный нравственный характер; впрочем, при серьёзном изучении оказывается, что характер псевдо-универсальный, ибо такого типа доктрина не в состоянии затронуть вершины человеческой духовности – и вот на этом-то, не самом высоком уровне возможно много, красиво и безответственно говорить о чём-то общем.

*В другую эпоху, в веке XIX-м, людям позитивистского склада показалось, что наука – та самая база, на которой возможно общечеловеческое единство. Аргументы были примерно таковы: религии, философские теории разделяют людей, это очевидно. А наука – так же очевидно – объединяет всех, поскольку сама едина. Не существует православной или католической физики, русской, японской, уругвайской. Есть одна общая для всех – стало быть, развивая науку вместо религий, можно добиться единства человечества.*

*Логически мысль вроде бы безупречная; но именно «вроде бы». Не соблюден здесь фундаментальный логический принцип: закон достаточного основания. Ибо нет достаточных оснований считать науку универсальной объединяющей силой, так как не способна она к постижению абсолютных истин – с коими как раз имеет дело религия. Уже в XX веке науковедение сформулировало так называемый принцип фальсификации, который, в сущности, постулирует следующее: наука как таковая не может быть полноценным мировоззрением, она лишь создаёт схемы, помогающие людям более или менее ориентироваться в окружающем мире. А вот на высоте философской, тем более религиозной проблематики, где речь не о деталях познания, а о самой сердцевине бытия, к согласию прийти куда труднее...*

В масонстве, правда, речь шла именно о единении человечества. Лучшие из мыслящих людей мучились мыслью: почему христианство (чьё нравственную огромность они сознавали и не хотели отречься от неё!) не сумело объединить мир? Почему даже те народы, что именуются христианскими, бесконечно ссорятся и воюют друг с другом?.. Кого-то, вероятно, и посетила изошрённая мысль: якобы исключительная высота требований и является препятствием к объединению. Следовательно, стоит опустить этическую планку, создать нечто расплывчато-благожелательное, общий набор правил, не касаясь таких трудных тем, как смерт-

ный грех, покаяние, духовный подвиг... Да, разумеется, если кого это интересует – пожалуйста, интересуйтесь, однако, возводить это в ранг нравственного императива вовсе не обязательно. Достаточно, но не необходимо – говоря языком логики.

На первый взгляд может показаться, что это блестящий выход из тупика. Однако же, нет – жизнь демонстрирует, что и этот приём онтологически неверен. Снижение критериев сразу же создаёт эффект «морального вакуума»: упрощённая этическая парадигма начинает втягивать в себя персонажей с упрощёнными этическими принципами; эти лица своим присутствием обесмысливают саму концепцию... Процесс непростой и нескорый, но закономерный, и никуда от него не деться. Митрополит Платон, вероятно, понимал это хорошо, его царственный воспитанник понял не сразу – но понял всё же. Кошмар французской революции отрезвил многих, а Павла он ещё и убедил в том, что единство христианского мира должно быть восстановлено на основаниях более серьёзных и глубоких, более мистических, если угодно. Впрочем, к тому, что ему в масонстве представлялось лучшим, Павел сохранил симпатию до конца дней своих – в чём ещё раз оказался проницательнее матери. Правда, у той есть уважительная причина: когда во Франции грянула революция, ей, находясь на троне, некогда было долго разбирать, кто иллюминат, кто розенкрейцер, кто лучше, кто хуже – проще было взять под тотальный контроль всех, что она и

сделала. Что она умела это делать, в том сомневаться нечего. Все сразу присмирели. Умники же стали тише воды, ниже травы.

Вряд ли Павел, воцарясь, стал миловать опальных (Новикова, Радищева, Баженова, того же Куракина...) только из ностальгии по своей молодости. Он действительно ценил в этих людях лучшее, что в них было, ценил идеологию единения, пусть и на усечённой основе – в конце-то концов он сам, христианский самодержец, на что?! Если кто ошибётся, он поправит.

Это было самонадеянно, хотя и благородно по намерениям. Вообще, нам следует признать доброжелательность социальной концепции Павла – логично вытекавшую из его религиозности, несколько неуравновешенной, с вывихами, но всё же настоящей, не показной.

Но если так, то отчего же царствование Павла вышло столь кургузым и горько-комичным?.. Иной раз приходится слышать, что русская и советская историография из разных политических соображений намеренно искажала образ пятого императора, окарикатуривала его. Подобные тенденции наверняка имели место – но сами по себе они отнюдь не значат, что дело обстояло совершенно наоборот. Да, злые, язвительные анекдоты о Павле Петровиче – вроде «подпоручика Кижее» – распространялись злонамеренно. Однако, сам он наделал столько ошибок и нелепостей, что грех был бы его противникам упустить шанс наносить удары, под которые Павел Петрович так опрометчиво «подставлял борта». Нет никаких сомнений в том, что он, видя плачевную долю крестьянства, о котором Екатерина, сказать правду, не очень-то радела, хотел улучшить его положение. Более того – он хотел настоящего равенства, не той отвратительной гнусности, что устроили во Франции «просветители», громче всех о равенстве кричавшие... Он хотел этого – и восстановил против себя аристократию. Он рьяно взялся участвовать в антифранцузской коалиции; а потом вдруг круто изменил курс – и восстановил против себя Англию. Конечно, и на то и на другое у него были веские причины: и приструнить аристократов, и на Англию осерчать. Однако, резкость

действий стоила ему жизни, чего он, надо полагать, вовсе не желал...

В спорте есть термин «перегореть»: в чересчур долгом ожидании своего выхода спортсмен сжигает нервную энергию, и, когда, наконец, приходит его долгожданный час, он вырывается на поле, готовый свернуть горы... и ровно ничего не получается. Перегорел.

Видимо, нечто подобное произошло и с Павлом. Он слишком долго был «в запасе». Нельзя сказать, что у него ничего не вышло; однако, вышло, приходится признать, немного. Впрочем, «запас»-то у него какой был! – надо принять во внимание. Побольше и потяжелее, чем у любого спортсмена. И дело не только в годах, хотя и в них тоже: сорок два года ожидания – шутка ли!.. Но главное всё же в колоссальном, на грани «быть-не быть» напряжении, которое охотно подогревалось частью придворной челяди. И которое после воцарения не исчезло... Павел недооценил силу аристократии, ввязываясь в борьбу с ней. И переоценил свою. Вероятно, он полагал, что он, православный монарх, защита и надежда своих подданных, делаая благородное дело – вводя милость и справедливость к рядовым россиянам, на чьи незаметные плечи много, много лет взваливалась тяжесть блестящей Екатерининской геополитики – выполняет тем самым волю небес. Да разве и он сам не убедился в благосклонности этой воли, восстановившей правду: он стал императором, как тому ни противилась мать!.. Значит, мистическое единство Бога, ца-

ря и народа непоколебимо, и, значит, он храним этим единством! И пресечь злоупотребления разжиревшего, избалованного дворянства, установить законность, благоденствие – его монарший долг, поддержанный свыше.

Всё это теоретически верно. И практически могло быть верным, при условии безупречной нравственной позиции императора, ибо сила – прежде всего нравственность. А вот с этим у Павла Петровича, увы, было негладко, при, повторимся, чистоте исходных намерений. Иначе говоря, он сам подрывал свои же благие помыслы неважным их исполнением: история насколько обычная на этом свете, настолько же грустная. Очень многое в действиях Павла было продиктовано сердитым стремлением зачеркнуть результаты многолетнего матушкиного царствования, причём зачёркивалось всё очертя голову, огульно, с размаху, не глядя, хорошо это или плохо. А иной раз желание отомстить приобретало формы изощённо-цинические, показывающие, что Павел не лишён был утончённого злопамятства... Так, едва ли не первым публичным мероприятием, устроенным новым императором, было перезахоронение праха его отца, Петра III. Останки были перенесены из Александро-Невского монастыря в собор Петропавловской крепости, место упокоения российских монархов, с полным церемониалом. За гробом несли царскую корону, а нёс её не кто иной, как граф Алексей Орлов, один из убийц покойного – и весь Петербург долго и пугливо обсуждал эту жутковатую аллегория[73, 59].

Не был Павел Петрович безгрешен и по дамской части. Глава огромной семьи, давно не юноша, он тем не менее не сумел избежать обыденных мужских соблазнов. Правда, нужно сказать, что интриганы умело портили отношения императора с супругой, Марией Фёдоровной, нащёптывая, что, мол, она тоже стремится устроить переворот... Отношения в семье в последние годы вообще стали какими-то полубредовыми; но и без этого, скорее всего, глава её не прекратил бы дон-жуанских подвигов. Долго – четырнадцать лет! – длилась его романтическая связь с фрейлиной Екатериной Нелидовой. Некоторые биографы Павла утверждают, что дружба эта была сугубо платонической. Возможно; однако, наблюдались в ней удивительные происшествия. Как исторический факт зафиксирован случай, когда Павел Петрович, очень сконфуженный, выскочил из покоев Нелидовой, а над головой его пролетела дамская туфелька [73, 64]... Что такое могло произойти в беседе двух идеалистов, отчего она приняла такой резкий оборот?.. – остаётся только догадываться.

Словом, император, взявшийся строго перевоспитывать дворянство и особенно придворный круг, сам нравственно не был безупречен. И спешил, спешил – там, где следовало быть осмотрительным... Спешка – не деловитая расторопность, а именно сумбурная спешка – в любых обстоятельствах вредоносный фактор, и уж никак не годится спешить самодержцу.

Таким образом, мы вынуждены признать, что император Павел оказался плохим политиком. Он не сумел реально оценить ситуацию (как внешнюю, так и внутреннюю), не соизмерил с ней свои собственные силы и возможности, не выработал внятной стратегии. Оттого-то его планы – несомненно, значительные, неординарные – повисли в пустоте. Не только, впрочем, оттого; видимо, и сами планы грешили легковесной торопливостью. Он не очень ясно представлял себе, какова цель его реформ – то есть, сам-то он, мечтая о всеобщем счастье и добре, вероятно, думал, что всё прекрасно осознаёт... но увы. Не обладая системно организованным мировоззрением, Павел проявил непростительное дилетантство в государственной стратегии, а отсюда и рваная, нескладная, неудачная тактика действий... В сущности, всё закономерно.

То, что Екатерина желала видеть на престоле не сына, а внука, секретом не являлось. Придворные готовились именно к такому продолжению. Поэтому, когда трон всё же занял сын, двор напрягся в неприятном ожидании... и ожидания эти сбылись. Они естественным образом наложились на давнюю неприязнь, а придумать способы ведения тайной войны было несложно.

Собственно, ничего нового «бойцы невидимого фронта» и не выдумали. Императору тихой сапой навевали мысль о том, что жена и старший сын замышляют устранить его (при этом наговаривали сыну, что отец на него в гневе). Приказы

и распоряжения сознательно доводились до абсурда... Впрочем, бюрократический аппарат стал работать заметно скорее – это совершенно не подлежит сомнению. Притихла коррупция: чиновники страшились брать взятки. Выдвинулся на самый верх давний гатчинский знакомец Павла, Алексей Аракчеев, не знавший устали труженик административной нивы, который не крал и не брал ни малейшей мзды, и под чьм суровым оком подчинённые начинали проявлять максимум отдачи... Конечно, неизвестно, что лучше, что хуже: какой-нибудь беззлобный добродушный взяточник, или такой тип как Аракчеев, который, несмотря на кажущуюся монолитность, как личность был совсем непрост и даже как-то пугающе многогранен, со странными душевными закоулками; но как бы там ни было, императору на время удалось приструнить распущенную придворную вольницу, хотя вместе с виновными наверняка летели и прочь и невинные головы – и опять же в том, похоже, преуспели ушлые интриганы... Павел завёл знаменитый «ящик», прообраз нынешних «книг жалоб и предложений»: в окне Зимнего дворца действительно было сделано нечто вроде почтового ящика с прорезью, запёртого на замок, а ключ хранился исключительно у императора. В этот ящик любой мог бросить письмо с жалобой, просьбой, разоблачением – а Павел потом эти письма разбирал и принимал решения [36, 369].

Сперва ящик сильно напугал пройдох, и они ходили приунывшие. Но потом чей-то хитроумный разум нашёл проти-

воядие: невидимые руки вбрасывали в прорезь пасквили на самого Павла. При этом безымянные авторы умело целили в самое больное место – в подмётных письмах монарха называли подкидышем, незаконнорожденным; повторялись ядовитые байки о том, что невесть кто был отцом Павла, да и мать была ли его матерью?.. В чьей-то злонамеренной голове родилась и пошла гулять по свету версия о том, что Екатерина родила мёртвого ребёнка, а вместо него подбросили безродного чухонского младенца, вот он и вырос теперь в подменного царя.

Почему именно чухонский – то есть какой-то прибалтийской, а точнее, угро-финской национальности – остаётся только гадать. Но этот чухонский младенец доводил Павла до исступления: мастера интриг знали, на какую мозоль государю наступить. Ведь вся его мировоззренческая концепция строилась на том, что он монарх совершенный, инициированный высшей силой, передаваемой в мистическом акте помазания – и более того, сын такого же помазанника. Иначе говоря, «не от человеков, но от Бога царство имеет», несёт священную миссию... Чухонский же младенец данную концепцию крушил если не дотла, то по крайней мере на три четверти: он, Павел Петрович, становился царём сомнительным, а может быть, и вовсе незаконным; это значило, что исчезала связь с небом, а раз так, то исчезало всё.

Разумеется, соль сыпалась на душевные раны государя исправно и регулярно – что хорошего настроения, добрых

чувств, светлых мыслей ему не добавляло. Нервы его изматывались, характер портился; памятуя о монаршем достоинстве, он старался держать себя в руках, что удавалось не всегда. Он срывался. Срывы эти, вкупе с мистической настроенностью и рыцарскими – иной раз в нелепо-донкихотском духе – представлениями о чести давали богатый простор для гипотез о душевном расстройстве... Можно не сомневаться, что и эта информация успешно достигала ушей императора.

Конечно, теперь, с расстояния двух столетий нравственный облик Павла I смотрится куда симпатичнее, чем личности его вельмож. Но... он проиграл, а они выиграли. С этим придворным миром – сложнейшим, трудновоспитуемым организмом – император совладать не сумел. «Не справился с управлением,» – как пишут в отчётах о дорожно-транспортных происшествиях.

Это политика внутренняя. А что было во внешней?..

Французскую революцию Павел воспринял не просто как переворот, а как покушение на святая его святых: освящённую Богом власть и саму христианскую религию, не православную, правда, но всё-таки... Да так оно, в сущности, и было. Павел прочувствовал духовную суть дела очень точно. Революционеры ведь не просто воспринимали христианство как рабство духа; в конце концов любой человек имеет право на своё мнение, пусть и вздорное. Но они дико безумствовали и кощунствовали: не все из них, скажем истину, однако большинство. Они сознательно глумились над чувствами верующих – тут уж не философия, не поиск истины, свободы, равенства и братства! Нет, они исходили злобой, как рептилии ядом, злоба жгла их изнутри и находила выход в унижении и оскорблении других... Они питались этим как упыри.

Незачем повторяться о социальных предпосылках Великой революции – они, конечно, были; и те люди, что ненавидели королевский режим, жаждали свободы и с восторгом мчались на штурм Бастилии, по-своему, бесспорно, были правы. Но речь не о них. И Павел понимал это. Он бывал во Франции – ещё в той, королевской – и проницательно почувствовал опасные тенденции, имевшие место во внутренней жизни этого государства, он видел роскошь и блеск двора и замечал нищету и бедствия крестьян. И ясно было, что

добром это не кончится... Но знал он и другое.

Император наверняка понимал, что несчастья народа суть лишь повод для людей, страстно желавших разрушить порядок, представлявшийся ему, Павлу, христианским. Был ли он вправду таковым? – право же, вопрос отдельного исследования. Однако, совершенно ясно, что те самые люди – и теоретики и практики! – ненавидели христианство как сущность, независимо от его социальной оболочки, именно его гнали, его хотели истребить, злобу свою извергали на христианские догматы – а заодно уж и на миропорядок, христианским называвшийся; более, правда, номинально, чем реально, но называвшийся-таки...

Это сложный социально-политический феномен. Почему так могло случиться? Что помутилось в человечестве?.. И помутилось ведь не вдруг, не в одночасье – нарастало, копилось, потихоньку, незаметно для многих. Грустно говорить, но это судя по всему, было явлением закономерным...

Христианство пришло в мир – и мир увидел нравственную огромность его, принял его, но... не так, как надо было бы принять, не решившись расстаться с языческими прелестями, сладостями, слабостями, от которых, что уж там говорить, столь трудно отказаться... Планета Земля не стала христианской в том смысле, в каком могла быть, воспринимая человечество пришествие Христа всем сердцем.

Сомнительно, чтобы Павел I вникал в подобные философско-исторические тонкости. Но то, что воспринял он рево-

люцию, якобинство и «культ Верховного существа» как сатанинское безобразие – о том и говорить нечего. И почёл священным долгом вступить в борьбу с ним.

Опять-таки вряд ли он сильно обольщался насчёт союзников: Австрии, Пруссии, Англии; даже Турцию сюда привлекли, да ещё и Неаполитанское королевство... Но что ж делать! – других всё равно нет.

Австрийский престол – императора «Священной Римской империи» – занимал Франц II Габсбург, человек ещё молодой, однако впоследствии устроившийся на троне вплоть до 1835 года; правда, трон был уже не Священной Римской империи – сие государство, долго хиревшее, окончательно упразднил в 1806 году Наполеон, которому, наверное, надоело смотреть на угнетённое длительными неудачами состояние некогда великого, а ныне недостойного, по его мнению, высокого титула государства... Империя стала называться сокращённо: Австрийской, а Франц из Второго сделался Первым. Правда, Австрия продолжала числиться в сонме великих европейских держав ещё более столетия... но за это монархам династии Габсбургов надо благодарить талант и проницательность канцлера Меттерниха, о чём будет сказано ниже.

Неизвестно почему Габсбурги выводили родословную от библейского Хама [89], того самого, который потешался над наготой отца своего Ноя, за что и был проклят – вернее, потомство его. Проклятие придурковатого предка отчего-то

сработало в полной мере лишь к концу XVIII века от Рождества Христова: именно тогда на фамилию посыпались одна за другой тяжкие невзгоды... И сам Франц и его сановники воспринимали войну с Французской сперва республикой, а затем империей как правое дело – да не очень-то ценили небеса их молитвы: французы били австрийцев с какой-то фатальной неизбежностью. Бонапарт особенно преуспел в этом деле, немного успокоился лишь в 1810 году, женившись на австрийской принцессе, точь-в точь как некогда Людовик XVI.

Англия – единственная из главных действующих в те годы держав, где монархия сохранилась и поныне. В те годы корона Британской империи возлежала на слабоумной голове Георга III Стюарта, он же курфюрст Ганноверский (по-английски имя его звучит, разумеется, как Джордж, но в российской исторической науке принято сохранять русскую транскрипцию). Этот венценосец продемонстрировал собою грустный пример равновесия в природе: даровав ему долголетие (на престоле он провёл 60 лет – куда там Францу!..), она отняла у него разум.

*Любопытства ради отметим редкостную продолжительность правления британских монархов. Георг III не остался рекордсменом в английской истории: 64 года процарствовала уже после него королева Виктория, да и нынешняя королева Елизавета II (правда, из другой династии)*

*пребывает на троне ни много ни мало 56 лет...*

Сегодня ведутся учёные дискуссии о том, была ли болезнь Георга собственно психической, не являлась ли она следствием каких-то соматических нарушений... но скорбных результатов это ведь не меняет. Впервые признаки душевного расстройства вдруг проявились у короля в 1788 году: он не спал ночами, бродил, кривлялся, бормотал что-то несуразное; однажды говорил без умолку несколько суток подряд. Семья и придворные ума не могли приложить, что делать, но тут вдруг король внезапно выздоровел. Все очень радовались, и народ тоже: надо признать, что вообще-то англичане любили монарха, он был человек незлобивый и жить никому не мешал... кроме разве что своих американских подданных, но тут особая история.

Конечно, потеря американских колоний была для Англии тяжелейшим ударом. В другое время, глядя на падение французских Бурбонов, в Лондоне наверняка бы злорадствовали, но когда и у самих такая жесточайшая конфузия... Всего же обиднее то, что сделать ничего нельзя – только бесильно наблюдать, как революционная Франция и Соединённые Штаты демонстрируют обоюдную приязнь.

Забегая вперёд, скажем, что болезнь Георга III долгое время была какой-то вялотекущей, но в 1810 году, после смерти любимой им младшей дочери Амелии, он от пережитого шока, увы, окончательно расстался с рассудком. Так что

последние десять лет из шестидесяти (умер в 1820-м) Георг числился в королях номинально, а обязанности главы государства исполнял его старший сын, так называемый принц-регент, тоже, кстати, человек с немалыми причудами.

Мотором внешней британской политики был мистер Вильям Питт-младший, наследственный, так сказать, премьер-министр: папенька его, Вильям Питт-старший, также в своё время занимал этот пост, на каковом посту умело интриговал против всего света; Францию же и французов ненавидел животной ненавистью. Сын, переняв от родителя политический талант, был при том сдержаннее и реалистичнее, отчего и добился большего. «У Англии нет постоянных союзников, у Англии есть постоянные интересы,» – это именно его кредо. Тот, кто вчера звался его другом, сегодня легко мог стать врагом и наоборот... Успешный был политик, серьёзный и энергичный, хотя закончилась его карьера и жизнь на очень минорной для него ноте... Но о том речь впереди.

Государства Пруссия на современной карте мира нет. Но тогда, на рубеже XVIII и XIX веков!.. Король Фридрих II был назван Великим совершенно заслуженно: он сумел за сорок шесть лет правления (1740–1786) из тесной территории с небольшим населением создать державу первого европейского ряда. Павел Фридриха Великого весьма уважал, и жалел, что не застал к моменту своего воцарения; тогда на прусском троне обретался племянник покойного короля,

Фридрих-Вильгельм II, не великий, но феноменально удачливый: при нём за счёт разделов Польши территория Пруссии увеличилась на 100000 кв. км. – такого великому дяде даже и не снилось. Истовый лютеранин, Фридрих-Вильгельм увлекался мистикой, покровительствовал розенкрейцерам, наверняка и с ним Павлу удалось бы найти общий язык, но в 1797 году король почил, и править стал сын его и тёзка, Фридрих-Вильгельм III. Этот был тоже набожен, но куда прагматичнее и осторожнее (хотя и несколько медлительный, тяжелодумный, не без своих психических странностей), он закрепился на троне надолго.

*Странности сработали в следующем поколении: сын III-го, Фридрих-Вильгельм IV, уже в пожилом возрасте и находясь на прусском троне, был поражён душевным расстройством, и последние четыре года его жизни (1857–1861) страной также правил регент...*

Турцию – точнее, Османскую империю, возглавлял султан Селим III, реформатор-неудачник [59, т.12, 718]. В неудачах своих, он, впрочем, был не виноват: в положении, в котором он оказался, вряд ли кто-то смог бы сделать что-либо путное. Султанское царство разваливалось год за годом под грузом невыносимых проблем, и процесс этот, видимо, в те годы приобретал необратимый характер. Селим пытался ввести новый порядок – «низам-и-джедид», что-то вроде на-

ших Петровских реформ на турецкий лад, но безуспешно... Термин «восточный вопрос» – то есть, надо ли поддерживать целостность Османской империи из геополитических соображений – номинально возник значительно позже, в 1839 году, однако фактически вошёл он в политическую жизнь Европы во второй половине XVIII века, когда Турция уже заметно одряхла, а молодая Российская империя мощно давила на юг, к Чёрному морю и Проливам. Европейская дипломатия, английская прежде всего, пугалась этого и всячески противодействовала – отсюда и двести лет русско-турецких войн, последней из которых стала Первая мировая...

В 1798 году в «восточный вопрос» метеором ворвался генерал Бонапарт, вторгшись в Египет (тогда турецкое владение), со стратегической целью получить плацдарм для дальнейшего похода в Индию. Равновесие великих держав – вещь неустойчивая, и прежняя конфигурация (Англия, Турция против России) резко переменялась: все против Франции. Сложился непрочный союз, названный Второй антифранцузской коалицией.

В ней и очутился Павел. Надо отметить, что довольно долго он колебался между двумя равнозначными для него составляющими христианского долга: борьбой с безбожием и желанием дать своим подданным если не покой, то хотя бы передышку после почти бесконечных войн. Человек наблюдательный, он давно заметил, что мощная внешняя стратегия Екатерины изнуряет страну. Ещё в 1774 году (в 20 лет!)

Павел представил матери «аналитический доклад», как сейчас бы сказали: «Разсуждение о государстве вообще, относительно числа войск, потребного для защиты оно́го, и касательно обороны всех пределов». [73, 26] Суть доклада – надо бы прекратить завоевательные войны и сосредоточиться на внутренних проблемах. Разумно вроде бы; но Екатерине с высоты трона видно было то, чего не видели другие: России необходимо жизненное пространство, которое повлечёт за собой и рост населения. Это во-первых; а во-вторых, никому нельзя дать повода заподозрить страну в слабости. Политика – джунгли, дал слабину – пропал. Екатерина всячески старалась скрыть от Европы масштабы Пугачёвщины, а тут ещё Павел со своим «Разсуждением»... Императрица жестоко раскритиковала сочинение сына.

В этом она была и права и не права. Возможно, по молодости лет цесаревич был наивен, но и его мысль была здоровой. Всё время воевать и завоёвывать невозможно... да только это в теории, а на практике почему-то складывалось так, что именно всё время приходилось воевать. И сам Павел, взойдя на трон, скрепя сердце вынужден был это делать.

Годы 1798–1800 стали для наших армии и флота сплошь экспедиционными действиями в Европе (войну с Персией, полученную в «наследство» от Екатерины, Павел прекратил). Действия эти были блестящими – пожалуй, после них-то о русских войсках и пошла слава как о непобедимых, и даже последующие досадные поражения не смогли её за-

тмить... Конечно, этой славой Россия прежде всего обязана Суворову. То, как он сражался в Италии и Швейцарии, потрясло всю Европу: такого воинского мастерства там не видывали со времён, наверное, Ганнибала... За европейский поход фельдмаршал Суворов получил от Павла чин генералиссимуса; хотя отношения у них, императора и полководца, не очень складывались. Суворов не принял «гатчинский» военный порядок, на параде, проводимом по такому образцу, куролесил, вёл себя неадекватно: видно, мог позволить себе это, чувствуя свою незаменимость [73, 61]. Ну, а Павел Петрович ангельским терпением тоже не обладал – нашла коса на камень... В итоге Александр Васильевич отправился в деревню, в ссылку. Но незаменимым он и вправду был: через год последовал вызов в Петербург, а оттуда – в тот самый поход, навстречу бессмертию.

Действия армии были поддержаны со Средиземного моря объединённой русско-турецкой эскадрой адмиралов Ушакова и Кадыр-бея. Фёдор Фёдорович Ушаков, ныне причисленный к лику святых, и в морском деле толк знал: он быстро и эффективно очистил от французов Ионические острова (западное побережье Греции), создал там базу флота и двинулся дальше, к берегам Италии. На море коалиция действовала согласованно: встречным курсом к кораблям Ушакова и Кадыр-бея – с запада на восток – с боями шла армада адмирала Нельсона. Летом 1800 года английский флот начал осаду Мальты.

Остров Мальта – южный форпост христианства, за которым простиралось мусульманское побережье Африки. Граница! И нравы пограничные.

Так обстояло дело в буйном, страшном XVI веке, когда император Священной Римской империи (той самой, Габсбургской, в ту эпоху бывшей в самом зените) Карл V пожаловал Мальту рыцарскому ордену иоаннитов. Было это в 1530 году, после чего орден стали именовать мальтийским, его воинов – мальтийскими рыцарями, а их символ, восьмиконечный красный крест на белом поле – мальтийским крестом. Название прижилось. Да по сути и было верным.

Христианский мир – нелегко в очередной раз подтвердить горькую истину, но что же делать! – раздирало распрями с самых его первых, ещё палестинских, иерусалимских дней. А XVIII столетие явило несколько иное качество раздоров: «бывали хуже времена, но не было подлей...» Прежде контрасты развивались в русле теоцентрическом: все социальные проблемы, неудовольствия и конфликты возникали – разрешаясь или не разрешаясь – будучи неизменно освещены идеей бытия человека в Боге, как бы сложно, запутанно и трагически ни складывались эти теоантропологические отношения; Бог всегда был надмирным полюсом, соответственно которому позиционировалось всё мироздание, а

прежде всего человек и человечество.

«Просветители» подарили Европе иную систему онтологических и моральных координат. Собственно говоря, они сделали огромный шаг в сторону десистематизации как таковой – хотя сами, возможно, так не думали, или даже думали обратное. Но отказ или полуотказ от безусловного центра, придавая «точкам» мнимые степени свободы, в любом случае реально инициирует тенденцию к профанации их бытия. Если же «точки» суть человеческие личности, то онтологическая профанация имманентно является и этической: она являет собой – возможно сначала незаметное, постепенное – но в итоге несомненное самоограничение человека, одиночество в становящемся ему чуждом мире людей, печальный взор и бесконечное ненастье в душе.

Французская республика объявила себя сперва категорически безбожной; потом, убедившись, что совсем без веры (точнее, без религии) жить нельзя, решили искать компромисс в форме вздорного неоязычества. Результатом поисков стал несообразный со здравым представлением о человеческой душе «Культе верховного существа» [10, т. 7, 534]. Культе этот и при рождении своём выглядел дегенеративно, так что долгой жизни у него не могло быть в принципе; его не то чтобы отменили, он просто оказался в принципе мертворождённым, как ни старались вдохнуть в него душу жрецы политической магии... Вот, собственно, и всё, что смогла родить заносчивая мысль, именовавшая себя просвещённой.

Директория, пришедшая на смену неистовым якобинским временам, в религиозные дебаты старалась не вмешиваться, и вообще к этой стороне жизни относилась достаточно индифферентно. В том, что в 1798 году Мальта была этим режимом Директории оккупирована, а орден пущен по миру, лежали причины сугубо политические.

В общей европейской неразберихе, бестолковой и неряшливой, никто не хотел отягощать себя лишней заботой о бездомных рыцарях. Все уклонялись, отмахивались... Все, кроме Павла I.

Екатерина по своим стратегическим соображениям наладила дружеские отношения с орденом ещё в 1792 году, правда, реализовать их потенциал не успела. И вот теперь Павел приютил изгнанных. Благодарные рыцари предложили Павлу стать главой ордена – Великим магистром. Павел согласился. 29 ноября 1798 года магистром он был провозглашён [90].

Странное на первый взгляд решение – православный царь во главе католической организации?! – имело в том числе и вполне прагматичный политический мотив. Принятие титула состоялось накануне заключения Второй коалиции, и Павел считал, что тем самым он укрепит свой статус в отношениях с союзниками; кому-то в Европе показалось, что русский император тяготеет к католицизму... Время показало, что это не так, и кроме того, это всё же было для императора делом второстепенным.

Вражду и войны в христианском мире Павел воспринимал как болезнь. Себя же, императора – как важнейшую несущую конструкцию православия и главу русской православной церкви. Собственно, так и было объявлено при коронации: «глава церкви». Согласно данному регламенту, император, не будучи священником, получал право выполнять некоторые его функции: причащать, принимать исповедь... А раз так, то лечить застарелые социальные болезни ему сам Бог велел. Восстановление христианского единства Павел воспринял как свою личную миссию: верующего и самодержца. И он взялся за это.

Прежде всего он попытался восстановить единоверие в российских верующих, некогда расколотых реформами Никона. Павел официально объявил политику «единоверия» – уравнивал в правах клиры главенствующей церкви и староверческой. Это деяние, правда, к желаемому восстановлению не привело: проблема оказалась глубже, чем казалось императору, да и ему самому времени оказалось отпущено немного... И во все последующие царствования задачу эту так и не удалось решить вполне.

Тем не менее тенденция, осуществляемая Павлом, очевидна. Он торопился, нервничал, сам себя перебивал и путал – но цель видел, к ней стремился. Правда, видел он её не очень ясно, то есть не представлял, какие трудности его ждут на пути к ней. Кто знает, может, политический реализм со временем пришёл бы к Павлу Петровичу, не в том смыс-

ле, чтоб отступить от цели – малодушным он не был; а в том, что он научился бы действовать спокойнее и рассудительнее... Кто знает! Кто знает, кто знает...

Мальта, разумеется, была интересна и с военно-стратегической точки зрения. Павловские годы – едва ли не единственный эпизод в мировой истории, когда европейские державы вкуче с Турцией открыли черноморско-средиземноморские проливы, Босфор и Дарданелы, для основных сил русского Черноморского флота, и флот вышел в Средиземное море, самым центром которого и является Мальта. Но всё же, если этими мероприятиями Павел и хотел решить сразу две задачи, то главной из них, для него, несомненно, было принятие под своё покровительство Ордена Святого Иоанна – с этого шага, по мнению Павла Петровича, и могло начаться дело воссоединения.

Тактически император уловил момент очень верно. Сейчас он мог вести разговор с Папой римским с позиции силы, ибо дела папские развивались в описываемые времена плачевно. От былого некогда всемогущества остались лишь «преданья старины глубокой» – в политической диспозиции к концу XVIII века Папа, конечно, обладал кое-каким влиянием, но оно не могло идти ни в какое сравнение с силами светских владык: и традиционных государей, и новых архонтов, рождённых революцией... Они сшиблись в грандиозной схватке, где понтифику оставалось только маневрировать, стараясь уцелеть.

Престол в Ватикане с 1775 года занимал Пий VI, в миру граф Браски [70, т.2, 347] – он, естественно, выступил самым ярким противником французской революции; видимо, сделал это тактически неверно, потому что когда её волна, в лице всё того же Бонапарта перевалила через Альпы и докатилась до Рима, противостоять ей не сумел и оказался во «французском пленении».

В прямом смысле слова: революционная армия зачем-то сочла нужным забрать первосвященника с собой. Тут-то и подоспела эпопея с Мальтийским орденом... Папа оказался между Сциллой и Харибдой. Признавать православного императора главой ордена?.. Католический мир, узнав о таких поползновениях, уже заволновался, и не просто рядовые прихожане, а могущественные силы, вплоть до королевских дворов. Не признавать? – ещё хуже. Отношениями с такой державой, как Россия, рисковать нельзя. А своенравный и вспыльчивый нрав императора Павла (он печатно публиковал объявления о вызове на рыцарский поединок тех государей, что не желают вступать в союз с Россией!) был слишком хорошо известен. А ну как он и Папу вызовет на поединок?.. Такое уже ни с чем не сообразно.

Попав в столь нелёгкий переплёт обстоятельств, Пий VI избрал примитивную, но в данных условиях, по-видимому, единственно возможную тактику: не говоря толком ни «да» ни «нет», он стал тянуть время, и делал это до тех пор, пока не отправился в мир иной. Грех, наверное, говорить такое,

но поневоле складывается впечатление, что Папа, будучи в преклонном возрасте, лишь ожидал конца дней своих, а с земными делами пусть разбирается преемник. Так и случилось; однако и преемник, Пий VII (граф Кьярамонти) [70, т.2, 348], будь он хоть семи пядей во лбу, ничего нового бы выдумать не смог, тем паче, что и других забот ему хватало... Потому он продолжил ту же политику неопределённого затягивания вопроса. В порядке компромисса оба Пия, кстати, признали Павла главой ордена «де-факто», но Пий VII оказался удачливее: ему помирать не пришлось. Скончался сам Павел Петрович.

Не надо, впрочем, думать, что «тянуть время» для Ватикана значило сидеть сложа руки. Интерес русского царя к единению церковей там, в общем, осторожно приветствовали – осторожно потому, что единство мыслилось Римом не иначе как Римским – а горький опыт подобного рода попыток заставлял Святой престол быть крайне осмотрительным.

Но опыт – великое дело. Католические эмиссары в России, по-своему усматривая в политике Павла Петровича симпатии к католицизму, ободрились и активизировались; при том действовать стали куда тоньше, чем прежде. Ещё при Екатерине на территорию империи проник австриец Габриель Грубер, иезуит – человек, сумевший впоследствии приобрести значительное влияние при дворе, но уже Павловском... Неоднозначна, мягко говоря, деятельность «общества Иисуса» в мировой истории. «Цель оправдывает средства,» – ло-

зунг опасный, обоюдоострый, даже если цель высока, даже если выше её нет. Но вот чего у иезуитов не отнять – превосходной, непревзойдённой, пожалуй, системы отбора кадров, воспитания и образования. Они умели находить талантливых людей, обучать их и использовать таланты на пользу ордена, а значит, как считалось – на пользу христианства в целом.

Габриель Грубер был именно таким человеком [70, т.1, 447]. На его образованность и блестящую эрудицию указывают все источники. Он не только профессионально владел богословием, философией, множеством языков, но был хорошо сведущ и в естественных науках и в ремёслах [90] – словом, мог быть незаменимым. Конечно же, он им стал.

Сначала он успешно обработал Российскую академию наук, предлагая вполне серьёзные, не дилетантские проекты к осушению болот и усовершенствованию водяных мельниц. Этим ему удалось привлечь к себе внимание значительных персон... а дальнейшее было делом ловкости, которой иезуиту не занимать. Очутившись при дворе, он немедля вылечил Марию Фёдоровну от зубной боли, а Павла Петровича покорила каким-то невероятно вкусным горячим шоколадом.

Так патер Грубер сделался одним из приближённых императора, а следовательно, и «агентом влияния». Орден иезуитов был в те годы официально упразднён (хотя подпольно действовал, разумеется!), и Грубер хлопотал о том, чтобы и

этот орден, подобно Мальтийскому, нашёл приют в России... Но это всё были частности, а в основном, сомнений нет, задача Грубера состояла в том, чтобы максимально расположить Павла Петровича к Риму.

О своих успехах австриец регулярно докладывал начальству; исследователи склонны считать, что святой отец-удалец эти успехи преувеличивал [90]. Он сообщал, что в доверительной беседе Павел Петрович не просто признавался в глубоких симпатиях к католицизму, но якобы заявлял, что «в сердце» считает себя католиком.

Да, эти сведения находят сомнительными. Однако, не стоит думать, будто Грубер сочинял одни лишь бравурные отчёты. Слова ведь многозначны по природе своей, интерпретировать их можно по-разному, а уж иезуиты мастера интерпретаций как никто другой – чтобы всё было истолковано в их пользу – общеизвестно. Павел же Петрович в высказываниях вряд ли осторожничал; да и будь он сверхосторожен, патер Грубер наверняка бы нашёл зацепку к тому, дабы истолковать должным образом и это и порадовать своих патронов... Но даже и не в иезуитской логике дело. Павел и в самом деле симпатизировал католицизму; правда, не в том смысле, как того хотелось бы Риму, то есть в смысле подчинения русской церкви Ватикану. Нет, просто Павел Петрович абсолютно искренне желал прекратить давние распри. Вероятно, и протестантизм он считал должным включить в процесс объединения, но в силу централизации католиче-

ской церкви с неё начать было удобнее.

Данная проблема оказалась сильнее императора Павла. Более того, она не разрешилась и по сей день. Почему? Сложно ответить однозначным образом. Павлу казалось – и многим другим, и сегодня кажется – что дело в каких-то исторических недоразумениях, которые преодолеть не то чтобы так уж легко, но надо бы взяться дружно, собраться всем вместе, да и договориться, наконец. Но вот именно этого – договориться! – так и не удаётся и поныне, хотя собираются и говорят: экуменический диалог ведётся достаточно давно, и результаты его приходится признать весьма скромными...

Людям непосвящённым наверняка представляется пустяком проблематика догматическая. От кого там исходит Святой Дух: от Отца или Отца и Сына?.. Да какая разница! Пусть кто как хочет, так и думает. Главное – взаимоуважение и взаимопонимание.

Но вот оказывается, что это не главное, хотя и безусловно важное. Без понимания и уважения единства нет, они условие необходимое. Но не достаточное.

Догматика – краеугольный камень религии. Без единства в ней не может быть единства конфессий. Ведь богословие – это выражение истин, явленных в откровении, и лукавить здесь не должно. Если разными людьми создаётся разная экзегетика единого Бога, значит, в самом деле человечество не готово ещё к реальной духовно-социальной гармонии в этом мире – не готово и по сей день. Слишком уж сильны пу-

ты местнических интересов: экономических, политических, геополитических... И поныне они не преодолены. Грустно это признавать, но делать вид, что такого нет – значит, прятать голову в песок.

Видимо, Павел Петрович не сумел этого понять. Он спешил и торопил других, горячился, сердился, вызывал раздражение и глухую оппозицию и не замечал, как постепенно утрачивает контроль за ситуацией...

За разговорами о метафизике и Павле Петровиче как-то ушёл в тень наш главный герой. Но это и немудрено: в годы противоречивого отцовского правления он действительно ступался, старался быть незаметным. Быть при дворе императора Павла I – совсем не то, что при «матушке» Екатерине, где было весело, привольно и блудливо. Батюшка же завёл нравы, как он сам считал, рыцарские, в результате чего жизнь стала похожа на минное поле. Все жили в постоянном напряжении, не зная, когда и где взорвётся в следующий раз, кто угодит под удар?.. Этого не знал никто, не знал Александр, наверняка не знал и сам Павел Петрович. У него много случалось внезапных чудес: кого-то отправляли в ссылку, кого-то возвращали (в том числе и Радищева! более того, ему вернули дворянство, коего он был лишён), кому-то попадало и плетьюми; а бывало и так, что придворный цирюльник (Иван Павлович Кутайсов, потомок пленного турка) вдруг делался графом и ближайшим наперсником царя. Но это курьёз, а вообще-то жилось в окружении императора не очень смешно. В том числе и Александру.

Со смертью бабушки он стал официальным наследником. Павел навёл в престолонаследии порядок, некогда запутанный Петром I, что, собственно, и породило чехарду дворцовых переворотов XVIII века. Павел Петрович установил за-

кон, который ясно и чётко регламентировал передачу власти [36, 368]. От переворотов или попыток переворота это, правда, не вполне избавило, но всё же прежняя неразбериха прекратилась... Закон гласил следующее: власть должна была передаваться от почившего государя строго ближайшему младшему родственнику мужского пола: сыну или брату.

Таким образом Александр сделался формальным преемником. Вот только по иронии судьбы это не приблизило его к трону; напротив, отдалило. Да и вообще жизнь принца сделалась несладкой. Можно сказать, что она стала невыносимой.

Большой мир – большая игра, большие страсти. Павел Петрович своей переменчивостью и разбросанностью облегчал задачу противникам, которым, в частности, надо было поссорить государя с семьёй. Императору никогда не давали забыть (при том, что сам он вряд ли о том забывал!) того, как его старший сын, бабушкин любимец, предназначался к трону в обход его, законного самодержца. И знал об этом. Правда, уклонялся – что правда, то правда. Но кто же знает, что он там на самом деле думает! И ещё эти гнусные якобинские идеи... Постаралась бабушка, ничего не скажешь.

Тень бабушки незримо витала над отцом и сыном, безнадежно и трагически запутывавшимися в своих отношениях. Трагически, да! – а всего трагичнее то, что они, отец и сын, всё-таки любили друг друга. Любили – и не доверяли, и хитрили, и страшились один другого.

С точки зрения обычного, рядового человека это может показаться невероятным. Чего вроде бы проще – встретиться с глазу на глаз, поговорить откровенно, открыть душу друг другу: ведь родные люди!.. Нет. Так и не открылись, не поговорили. Всё таились... И кончилось это хуже некуда.

Впрочем, не надо забывать, что это большой мир. Ставка больше, чем жизнь – здесь не метафора, но правило, закон, самый воздух этого мира. Ставка императора Павла оказалась бита. Он не сумел совладать с придворной камарильей, как не справляется неопытный учитель с трудным классом. Опытным интриганам удалось не только с сыном поссорить государя, но и с женой, внушая тому, что она таит желание царствовать: по примеру свекрови. Александру же, естественно, наговаривали, что отец крайне сердит на него, и если он, Александр, не примет мер, то судьба его будет печальной. Наверняка в подобных разговорах подымалась из могилы тень несчастного Иоанна Антоновича, отчего впечатлительный юноша трепетал до слёз.

Императрица Мария Фёдоровна, кстати говоря, не была бессловесной домохозяйкой: при Екатерининском дворе она насмотрелась и наслушалась всякого, набралась опыта – дама была неглупая, и политические амбиции бродили в ней; пример свекрови очень уж наглядно стоял перед глазами. Разумеется, быстро нашлись такие, кто эти амбиции распознал и начал старательно подогревать; в общем-то те наветы, что достигали Павла Петровича, имели хотя бы теоретическое

обоснование... Вдобавок ко всему императрица почему-то невзлюбила старшую невестку, Елизавету Алексеевну, что ещё добавляло осложнений в и без того неблагоприятную атмосферу двора и семьи.

Так постепенно, день за днём, год за годом отношения отца и сына, мужа и жены превратились в тёмный лабиринт. Выбраться из него без посторонней силы они уже не смогли.

О мистических событиях в жизни Павла Петровича сказано предостаточно, однако, самый знаменитый апокриф (в разных источниках приводимый с незначительно разными нюансами, не влияющими на суть) стоит того, чтобы его привести.

Морозной ночью цесаревич – тогда ещё молодой человек – с другом Александром Куракиным шли куда-то по жутковатому в подлунной зимней пустоте Петербургу. Мороз подстёгивал – шагали быстро. Вышли на Сенатскую площадь. Здесь как-то случилось так, что Куракин замешкался, отстал... И странным образом рядом с Павлом оказался очень высокий человек в тёмном плаще и низко надвинутой шляпе – лица совсем не было видно. Юноша спросил у нового спутника, кто он такой; тот снял шляпу... и Павел увидел своего прадеда – императора Петра I. Покойный государь взглянул на правнука грустно и ласково, после чего молвил: «Бедный Павел! Бедный, бедный Павел!...»

На этом видение оборвалось. Павел очнулся – лёжа на мостовой, а напуганный Куракин тёр ему виски снегом, чтобы привести в чувство. Из дальнейших разговоров выяснилось, что князь, конечно, ничего не видел и не слышал. Замешкался – а когда поднял взгляд, то цесаревич уже лежал без чувств.

Непросто в этой теме отделить истину от лжи и заблуждений. Все мы сильны задним умом, и всем нам кажется – когда уже что-то случилось – что предзнаменования случившегося были явными, вот только почему-то мы на них не обратили должного внимания... Но действительно, возможно ли реальное предвидение будущего, и если да, то почему вокруг этого феномена всегда какие-то сумерки и шарлатанство? Или же в самом деле, всё тут вздор, и толковать нечего?..

Не вдаваясь в глубь проблемы (это потребовало бы отдельного исследования), следует отметить, что способность человека обретать во времени больше степеней свободы, чем обыкновенно – факт бесспорный. И столь же бесспорно, что такие способности проявляются в человечестве эпизодически; говорить о социальном освоении многомерных пространств-времени пока не приходится. То, что отдельным людям в разной степени это удавалось – другое дело; но и здесь приходится быть осторожным в оценках и толкованиях. Конечно, внешней, феноменальной стороне можно попытаться найти научное объяснение, притом достаточно убедительное. Но по сути оно ничего не даст, ибо сама способность ясновидения имеет более нравственную, нежели чисто познавательную основу (впрочем, разделение гносеологии и этики есть весьма условная установка). Настоящее восприятие, или лучше сказать, переживание человеком времени (и пространства) является необходимо этическим действи-

ем; собственно, этика и есть основа реального постижения духовных – они же многомерные – пространств-времён.

Понимание этого позволяет здраво оценивать многочисленные спекуляции на тему провидческого дара. Истина там, где вера, добро, духовный подвиг и служение человечеству – прочее же от лукавого. В разные эпохи находились люди, так или иначе причастные к данной проблематике – причастные по-разному: истинные пророки и провидцы, искренне заблуждавшиеся, недобросовестные или совсем бессовестные проходимцы... Как различить их? Очень просто. Всмотреться в нравственный облик этих людей – и всё станет ясно. Какие могут быть сомнения в том, что пророческий дар Сергия Радонежского шёл от Всевышнего, а тёмный субъект Хануссен, подвизавшийся вокруг Гитлера, был мошенник, мошенничал, и жизнь кончил скверно...

Соотносясь с моральным критерием, мы можем всерьёз отнести к истории монаха Авеля, в миру крестьянина из-под Тулы Василия Васильева, прославившегося как провидец ещё при Екатерине, в затем и далее – вплоть до царствования Николая I. Впрочем, «прославившийся» – наверное, не совсем то слово о человеке, проведшем большую часть жизни по монастырям да заточениям; предсказания его были нелицеприятны и грозны – а кому из сильных мира сего хочется слушать о себе правду... Закончил брат Апель свои дни в Суздале, в Спасо-Евфимьевском монастыре: своеобразном «исправительно-трудовом заведении» для духовных

лиц, из этого звания не исключённых, формально ни в чём не обвинённых, но неформально всё-таки неблагонадёжных [36, 357].

Дар Авеля подтверждаем такими разными, но равно заслуживающими доверия людьми, как игумен Валаамского монастыря Назарий (где АVELЬ одно время был послушником) и знаменитый полководец Алексей Ермолов. Покоритель Кавказа всегда был мастером острого слова, следить за выражениями не считал нужным, отчего всю жизнь попадал в неприятные истории. Вот и будучи молодым офицером, он что-то такое высказал вслух в адрес своих начальников, коих воспринимал саркастически, что даже угодил в крепость. Потом, правда, начальство смилостивилось, и умника отправили подальше от столиц, в Кострому [29, 27]. Там он сначала и услышал об Авеле, послушнике теперь уже Николо-Бабаевского монастыря (по некоторым данным, здесь бывший Василий Васильев носил сперва имя Адама), а потом и увидел его.

Это был февраль 1796 года. Тогда монах АVELЬ записал, что кончина императрицы Екатерины произойдёт... когда? В отдельных источниках утверждается, что АVELЬ указал точную дату: 6 ноября. В этом можно сомневаться, но стоит всерьёз отнестись к формулировке Ермолова: «... день и час кончины императрицы Екатерины с необычайной верностью» [82]. Как бы там ни было, предсказание произвело переполох.

Надо отметить, что Авель отнюдь не самовольничал. О прозрениях своих докладывал строго «по инстанции»: монастырскому начальству. В тот раз игумен Николо-Бабаевского монастыря, видя, что дело политическое, счёл за лучшее сообщить костромскому губернатору (тогда и Ермолов о том узнал), оттуда информация покатила в Петербург, а следом за нею в столицу отправился и сам Авель. Там его сильно ругали, грешным делом и без рукоприкладства не обошлось; наконец, прозорливого монаха заточили в Шлиссельбургскую крепость.

Когда же царица скончалась, Авель стал сенсацией. Доложили Павлу. Тот велел страдальца освободить, после чего принял его лично, ободрил и обласкал. С подачи императора Авель был даже «повышен»: из послушников стал иноком. Вскоре он вернулся на остров Валаам, но... грозные пророчества для власть имущих хороши тогда, когда их лично не касаются. А пророчества Авеля продолжались, и вновь неприятные, но теперь касающиеся уже самого Павла Петровича. Это вызвало высочайший гнев, и в 1800 году история повторилась, правда, фарсом от этого не стала: инок был из Валаамского монастыря изъят и препровождён опять-таки в знакомый ему Шлиссельбург.

Судьба рукописей Авеля столь же загадочна, как его личность и его жизнь. След их потерян. Что там написано (было написано)?.. Легенд предостаточно, и самая знаменитая из них – что сделанное Авелем описание трагической смер-

ти императора Павла I и не менее трагической судьбы дома Романовых сам Павел запечатал в конверт, написал на нём: «Вскрыть потомку нашему в столетний день моей кончины», положил в ларец, и ларец этот более ста лет простоял в Гатчинском замке, до 11 марта 1901 года, когда Николай II исполнил волю прапрадеда. Излишне говорить, что и этот документ не сохранился...

К Авелю и его пророчествам мы ещё будем возвращаться. Сейчас же стоит остановиться на том, насколько достоверна история взаимоотношений таинственного монаха и императора Павла. Несомненна мистическая настроенность государя. Есть значимые основания считать истинной провиденциальную одарённость Авеля. Что может следовать из этих двух посылок?..

Следует нечто, заставляющее призадуматься.

Допустим, Павел не поверил Авелевым словам относительно него, Павла. Психологически это вполне достоверно: разумеется, неприятно слышать предсказание собственной гибели, и раздражение самодержца, у которого нет и минуты свободной, и чья голова идёт кругом от тысячи самых неотложных дел, самое естественное. Дескать, раз уж пришла монаху охота молотить вздор, так пусть делает это в тюрьме! Может быть, поумнеет.

Но тогда чем объяснить то, что это раздражение полыхнуло спустя почти три года после первой встречи? Тем, что сначала в речах Авеля ничего зловещего не было, а в 1800

году, уже в текстах – появилось? Характер у Павла Петровича не сахар, известно: осерчал, вспылил – и вот результат. Возможно такое?..

Возможно, но маловероятно. Император сам пожелал увидеть Авеля, узнав о пророчестве того насчёт смерти матери. Учитывая личность Павла, трудно представить, что он просто отмахнулся от монаха со всеми его прозрениями. Значит, должен был серьёзно и ответственно относиться ко всему тому, что от Авеля исходило. Но почему же – если предположить, что была названа дата 11 марта 1801 года – в ту роковую ночь Павел не усилил мер безопасности? Решил отдаться Провидению?.. Но тогда зачем сердиться на предсказателя, вплоть до заточения того в крепость? Ведь и до этого Павел активно «перевоспитывал» своих придворных, боролся с сетью заговора, опутывавшей его, как он чувствовал, сетью, заговора, в который могли быть вовлечены жена и дети? Боялся поверить в это, страшился убедиться в предательстве родных людей?.. И такое может быть.

В целом же все эти неувязки складываются в следующую гипотезу.

Павел, вероятно, вполне серьёзно отнёсся к Авелю – и внимательно выслушал предостережения, в которых вряд ли содержались какие-то цифры, даты; скорее всего, в них просто звучала тревога о возможном развитии событий. И если так, то можно предполагать, что император принял это к сведению, Авеля поблагодарил, однако с будущим стал справ-

ляться сам – он-де человек верующий, мистически способный, так что, собственно, это и есть его задача: делать мир лучше... Когда же после трёх лет титанических, невероятных усилий, из Валаама донеслись слова о том, что беда не только не рассеялась, но сгустилась пуще – тогда разочарование и гнев Павла становятся понятны. Оправдывать этот гнев сложно, но вот по-житейски, по слабости человеческой он ясен. Если тебе, в сущности, говорят о том, что три года ушли впустую, как вода в песок, что зря были все идеи и реформы, труды и дни, войны, победы, фантастический бросок Суворова через Альпы и рейды лихих эскадр по трём морям... Нет, как хотите, а после всего этого услышать то, что видит удивительный монах... Это ужасно.

Нет никаких сомнений, что император Павел желал знать будущее и сам изо всех сил всматривался в него. Что он там видел?... Загадка. Беспощадные слова Авеля стали для него тяжким испытанием, и он просто-напросто не захотел поверить в них – что, повторюсь, психологически объяснимо. Но самому ему его грядущее, похоже, так и не открылось. Он старался! Очень старался. Но не вышло. Неизвестность бросала его от надежд к отчаянию, от него опять к надежде. Так бывает со всеми нами, это очевидно. Но у рядового, частного человека эти качели – его личное дело. А вот когда по такой рискованной амплитуде бросает императора великой державы, то вместе с ним лихорадит не только эту державу, но и весь мир.

В конце 1800 года Павел заложил такой политический вираж, от коего всю Европу встряхнуло и заколотило, точно в истерическом припадке.

Вступая в антифранцузскую коалицию, царь руководствовался высокоидейными соображениями. При этом, правда, он вряд ли с самого начала питал какие-то иллюзии относительно столь же возвышенных моральных качеств у своих союзников, но всё же их лицемерие и беспринципность – Англии и Австрии – превзошли допускаемые его рыцарским кодексом пределы. Он думал о всехристианском единстве, а им, тоже христианам, было глубоко всё равно, что там едино, что нет. Они преследовали свои ближайшие интересы, крайне прагматические, сиюминутные, полагая, что если русскому императору угодно витать в облаках прекраснодушия, так это его проблемы.

Здесь не стоит ломать моральные копья: действия союзников Павла красивыми не назовёшь, но такова жизнь. Тем паче такова политика. Австрийцы бросили русскую армию в Италии потому, что своя рубашка ближе к телу. Англичане, захватив Мальту, не спешили передавать власть над ней её законному правителю, Великому Магистру, и не торопились на выручку русскому корпусу, действовавшему в Голландии – потому что им так было выгоднее. Политика есть бизнес.

Но, действуя по-коммерчески цинично, союзники недооценили Павла. А он, увидав, что в этой дружеской компании каждый сам за себя, видимо, почувствовал полное моральное право сделать своим партнёрам сюрприз. И сделал это очень круто, так, что их едва не хватил столбняк.

Можно лишь предполагать, насколько на это решение повлияли Авелевы предсказания. Но, во всяком случае, картина вырисовывается довольно стройная. Досада досадой, крепость крепостью, но ведь император имел случай убедиться в значимости слов монаха... Так может, надо что-то резко изменить? Быть может, этот поворот совпадёт с волей Провидения?!

Такой ход мысли вполне в духе мировоззрения Павла Петровича: христианского единства с этими обманщиками, пройдохами, австрийцами да англичанами не вышло. Видимо, союз с ними оказался досадной ошибкой... Так может это единство станет возможным совсем с другой стороны, со стороны Франции? Там происходят неожиданные события, и кто знает, возможно они являются предзнаменованиями...

Павел Петрович верно оценил 18 брюмера (9 ноября 1799 года) как конец революции – во всяком случае, как формальное окончание чудовищной идеологии, порядком надоевшей самим французам. Что там говорить, королевская власть не отличалась кротостью и гуманизмом – но ведь новая-то показала себя во всей красе, во сто крат хуже! Правда, в последние годы она прекратила террор и занялась набиванием

карманов – но голодному, ободранному, одичалому народу от этого легче почти не стало. Теперь уже и жизнь при покойном короле вспоминалась как чудесная сказка... Поэтому когда Наполеон без малейшего труда разогнал гнилую, продажную Директорию, многие во Франции обрадовались – им показалось, что наконец-то пришла настоящая твёрдая власть.

Так оно, собственно, и было; другое дело, что и эта твёрдая власть не дала французам покоя, напротив, в скором времени ввергла их в пучину новых, не менее кровопролитных войн...

Павлу Петровичу, чей беспокойный дух метался в отчаянных поисках, явление Наполеона Бонапарта показалось поворотом к христианскому возрождению. Внешне это именно так и выглядело, правда, Наполеон, упоённый собственным величием, вряд ли воспринимал христианство как абсолютную ценность: просто он делал то, что ему было выгодно. Выгодно помириться с церковью – и он тут же помирился. Выгодно ему было и сближение с Россией – и случилось то, что должно было случиться... Наполеон во чтобы то ни стало хотел вырваться из политической изоляции, Павел разочаровался в союзниках, тем более в их потенциях относительно христианского ренессанса; в действиях же «гражданина первого консула» усмотрел стремление к таковому... И мир вздрогнул. Император Павел I порвал с коалицией и вступил в новую – с этой разбойной, вызывающей всеобщий

ужас Францией.

Заодно он рассердился и на французских роялистов, которых прежде привечал, даже изгнанный наследник престола, будущий король Людовик XVIII приютился в России, в Курляндии... Теперь же Павел Петрович велел гнать всех взащей.

Возможно, император думал, что этим внезапным маневром он разорвёт цепь тёмных сил, смыкающихся вокруг него. Он не видел ясно, но чувствовал, ощущал близкое присутствие этих сил, он был окружён зловещими видениями... он спешил, спешил, спешил, ему надо было одолеть всё это.

Но он не успел.

Англичане, издавна успешно практиковавшие деятельность политической разведки, сумели к концу XVIII века наладить в Петербурге отличные оперативные позиции. Они были прекрасно осведомлены о недовольстве придворных императором. Чтобы это недовольство переросло в переворот, необходимы были два важнейших фактора: деньги и решительное руководство. И оба эти фактора сошлись.

Денег Британская корона, конечно, не пожалела, ибо каждый день приносил Лондону новости одна оглушительнее другой. Павел с Наполеоном не только заключили союз, но оба дружно ополчились против Англии и вздумали идти войной на Индию, беря её в клещи с запада и севера [36, 374]. Английская агентура донесла в Лондон, что Донское казачье войско снялось со своих зимних квартир (шла зима 1800/01 года) и двинулось на восток, к Оренбургу. Индийский поход начался. В Лондоне впали в шок!

2 февраля 1801 года (по Григорианскому календарю) правительство Питта-младшего рухнуло. Но все понимали, что отставкой дела не выправишь, и потому агентурная деятельность в русской столице приобрела ещё более интенсивный характер. Медлить было смерти подобно!

Итак, с деньгами проблем не существовало. Решительное руководство – вопрос всегда более сложный, но в данном

случае и он удачно решился в пользу оппозиции.

Основу этой оппозиции составляло семейство Зубовых, столь процветавшее в последние Екатерининские годы: отставной фаворит императрицы князь Платон Александрович (титул заработал альковными подвигами), его братья Валериан и Николай (женатый на дочери Суворова), и, наконец, их сестра Ольга Александровна Жеребцова. Вся эта довольно неприглядная семейка весьма понаторела в дворцовых интригах, они были мастера по распусканию слухов, умели и привлечь людей на свою сторону... Но всё-таки сомнительно, чтобы кто-то из них сумел бы стать лидером заговора. Не тот калибр. Лидером стал другой.

Прусский дворянин Пётр фон дер Пален поступил на русскую военную службу, в конную гвардию в 1760-м году. В 1762-м поневоле оказался участником переворота – «...был молод и в чинах малых. Конной гвардии субалтерн-офицером, ничего не знал про заговор...» [44, т. 3, 44]. Затем служил и далее, воевал, был храбрым воином, выслужился в крупные чины и титулы, стал графом. Как администратор проявил себя блестяще: будучи правителем Рижского наместничества, сумел безболезненно провести окончательное поглощение империей Курляндского герцогства, территории, вассальной по отношению к России, но сохранявшей номинальные признаки государства. Успешно превративший герцогство в Курляндскую губернию, Пален был назначен её генерал-губернатором. Это произошло в 1795 го-

ду.

При Павле карьера Петра Алексеевича (так по-русски) сперва было качнулась: когда в его губернии оказался Платон Зубов, то встречен был с церемониалом, подобающим высокопоставленному чину, хотя к тому времени князь пребывал уже частным лицом. То ли генерал-губернатор не разобрался в петербургских тонкостях, то ли сделал это по дружбе – с Зубовыми он приятельствовал с давних пор – но так или иначе это был на редкость неудачный шаг.

Павел, узнав о том, конечно, осерчал. Пален был наказан строго – уволен со службы [36, 377]. Однако, через полгода возвращён, и более того, карьерный рост его становится космическим: в июле 1798 года Пётр Алексеевич сделан столичным градоначальником (военным генерал-губернатором), одним из самых приближённых к императору лиц. Видно, управленческие способности его в самом деле были выдающимися.

Несмотря на связи с Зубовыми, Пален не был типичным Екатерининским придворным, и это, пожалуй, главное, почему именно он, а не кто-то другой, взял заговор в свои руки. Он не был изнежен и развращён «светом», был умён, твёрд, беспощаден. Кроме того, он был прекрасным психологом. И очень быстро в искусстве интриг он превзошёл всех прочих. И наконец, Пален сумел войти в доверие к императору... А добившись этого, он уже мог в значительной степени управлять событиями и более того, организовывать их.

Что побудило этого человека стать путчистом? Властолюбие, свой особый бонапартизм?.. Не похоже. Он уже достиг таких высот власти, выше которых и при новом императоре не будет. Да и в возрасте пребывал почтенном – 56 лет по тем временам не шутка, почти старик... Не был граф и английским «агентом влияния», хотя, возможно, альянсу с Францией и не сочувствовал. Не в том дело. Вернее, не совсем в том.

Конечно же, Пален знал об английских происках и не препятствовал им. Судя по всему, он был действительно «идейно» убеждён в необходимости устранения Павла. И совершенно ясно – он осознавал устранение как убийство. Понятие о «помазаннике Божиим» было для него пустым звуком.

Но почему же?! – почему за год-полтора, проведённых близ императора, генерал убедился в необходимости такого решения? Был циничен и безжалостен? Пожалуй, был. Но это не мотив. Он обладал огромной властью – да, куда уж больше! Правда, в любой момент это могло оборваться: жизнь близ Павла Петровича очень напоминала игру в русскую рулетку. Но попасться императору на заговоре – это даже не рулетка, это верная пуля в голову. Кому, как не военному губернатору, знать о том!.. И всё-таки он твёрдо и последовательно вёл курс на переворот.

Наверное, не стоит думать о графе Палене как о совершенном злодее и безбожнике. Скорее, его принципы были по-лютерански, скорее, даже по-кальвинистски жёсткими,

безжалостными, без снисхождения к слабостям. Классическое протестантство предполагает крайне суровый моральный детерминизм: кто не с нами, тот не то чтобы против нас, а просто-напросто исчадие дьявола. Разумеется, живая жизнь сложнее концепций, пусть и теологических, и такой ригоризм существует больше в теории, но всё-таки – если рьяный протестант вдруг восплачет некоей идеей, пусть даже это идея счастья для всего человечества, то право же, лучше от этого экспорта счастья держаться подальше.

Понятно, что чужая душа потёмки, тем более душа из далёкой эпохи. Сегодня можно лишь догадываться о том, как формировались убеждения Палена за очень небольшой срок его петербургской службы. Но вполне очевидно, что строгое, чёткое, раз и навсегда расчерченное мировоззрение генерал-губернатора не принимало пылкую, громокипящую натуру Павла Петровича; тем более не могло принять такого человека в роли императора (хотя терпеть приходилось). Логическая схема проста и очевидна: в государстве должен быть порядок. Порядка нет. Значит, надо восстановить. Как? Пален знал, как это сделала Екатерина при беспорядочном Петре III. При ней, благодетельнице, порядок, безусловно, был.

Вполне возможно допустить, что Пален был искренен, рассуждая так. Не хитрил, не юлил наедине с собой. Он вправду хотел порядка – так, как он его понимал. И уж яснее ясного, что Павел, воодушевлённый, порывистый и весь

«неправильный», никак не отвечал этому пониманию. А раз так... Раз так, то дальнейшая логика ясна тем более. Пален сумел подчинить заговор своей воле, сумел настроить императора и против жены и против старших сыновей, а их, в особенности Александра, застращал отцовским гневом чуть ли не до обмороков. Тонкими, умелыми интригами он добился удаления от двора Алексея Аракчеева и Фёдора Ростопчина, единственных из сановников, кто искренне был предан Павлу. Но, естественно, Пален понимал, что долго так идти не может. Неустойчивое равновесие – точь-в-точь как в механике...

Развязка приближалась.

Идея построения в столице своей новой персональной резиденции овладела Павлом, вероятно, ещё в Гатчине. Идея была одновременно и вдохновенной и приземлённой – здание должно было стать мощным, величественным и причудливым, соединяя в себе военную крепость и таинственный дворец... Подобные желания часто приносят самые непредсказуемые результаты; в данном случае оно воплотилось в сумеречном очаровании Михайловского замка.

Архитектор Василий Иванович Баженов был ревностный масон. Если предположить, что в самых знаменитых творениях (дом Пашкова в Москве и тот же Михайловский замок в Петербурге) он стремился выразить своё мирозерцание – то философский взор получает выразительнейшую иллюстрацию к масонской сущности как таковой.

Эти здания неизъяснимо прелестны, особенно Пашков дом. Красота их таинственная, не сказать, что болезненная, но немного печальная; и уж, конечно, ни намёка нет в них на взлёт ввысь, как в готике, как в колокольнях русских храмов, минаретах мечетей... И в замке и в доме Пашкова есть «глава» – купол, однако и там и там он лишь немного вышашается над крышей. Впрочем, предъявлять жилому дому упреки за отсутствие взлёта в небо излишне; но грустная вычурность – она же характернейшая особенность баженов-

ских творений – есть чрезвычайно меткий символ начальной привлекательности и исходной бесплодности масонства. Его романтика – это закоулки, полумрак, потаённые ходы, шелест, шорох, шуршанье... Словом, нечто призрачное, прячущееся и недосказанное. Само по себе, это, наверное, дело безобидное, для натур хрупких и наивных может оказаться и полезным, и этого исключать нельзя. Но вот чего на такой основе сделать никак не получится – построить прочное мировоззрение, способное разрешить самые трудные вопросы, что ставит перед человеком жизнь. Подспорьем может быть, а вот базой – нет...

*До наших дней дошёл групповой портрет работы неизвестного художника: архитектор Баженев с семьёй [10, т.4, 34]. Был ли масоном этот неизвестный художник, тоже неизвестно, но картина вышла у него на славу. Композиция такова: из темноты расплывчато проступают человеческие фигуры с какими-то пугающе-искажёнными лицами; на переднем плане – столик с чертежом, перо в чернильнице, и почему-то сидит попугай. Сам Василий Иванович, разумеется, в центре: красивый молодой мужчина, лицо вдохновенно-утончённое; руки и пальцы разведены в затейливой жестикующей, Бог весть что означающей. Масоны, как известно, были мастера на подобного рода условные сигналы.*

Не надо забывать, что император Павел в молодости был

сильно увлечён масонством. С годами, правда, переболел – но по-настоящему ясного, стройного, незыблемого христианского мировоззрения так и не достиг, при всей искренней тяге к нему. И его последнее обиталище на этой Земле – Михайловский замок – тоже символ, странный и трагический, символ духа, стремившегося, но не обретшего.

План замка действительно был разработан Баженовым, но он скончался в разгар строительства, в 1799 году. Достраивал здание итальянец Винченцо Бренна, давно знакомый императору. Павел спешил, подгонял, строительство шло бешеными темпами – и вот, 1 февраля 1801 года, сырой и стылой петербургской зимой императорская семья переехала в наспех достроенный замок. На следующий день по случаю новоселья был устроен бал-маскарад.

Все очевидцы вспоминают этот бал как жуткое и фантастическое зрелище: холод, сумрак, путаница бесконечных тёмных лестниц и коридоров; система дымоходов толком ещё не работала, печи дымили, заполняя залы едким туманом [73, 73]... Бал призраков.

Возможно, Павел думал, что новый дом – тоже ход в игре с силами зла. Впрочем, в глубине души он должен был понимать, что надежды и эти не сбылись. Он чувствовал неладное вокруг себя, Авелевы предсказания терзали его, не давали покоя (Авель, кстати, содержался под строжайшим надзором). Что думал Павел о своей схватке с судьбой, считал ли он, что ему удастся переиграть злое роки?..

Это так и осталось тайной по сей день. То, что известно о последних сорока днях жизни императора Павла (а именно столько он провёл в Михайловском замке!), загадочно и противоречиво. Возможно – даже вероятнее всего – это результат «обратной памяти», когда после того, как случилось нечто, более ранние события воспринимаются сквозь призму этого случившегося, и каждое кажется символическим, предвосхитившем будущее... Только вот почему-то никому так и не разгадать эту символику, откуда это нечто не произошло.

Отсюда, думается, из этих психологических ресурсов легендарные сказания о последних, уже самых последних днях. Кривые зеркала, в которых шея кажется свёрнутой, нелепая фраза «На тот свет иттить – не котомки шить» [5, 84], разное прочее... Да, свою партию с судьбой Павел Петрович Романов проиграл.

9 марта на обычном ежедневном докладе государь вдруг перебил Палена странным вопросом: что делал тот в 1762 году во время переворота? Здесь-то и прозвучал ответ про субалтерн-офицера конной гвардии... Из дальнейшего разговора выяснилось, что Павел догадывается о заговоре сегодняшнем, и хочет знать, в курсе ли военный губернатор.

И тут Пален решает сыграть ва-банк. Он объявляет: да, знает! И не просто знает, но сам лично возглавляет заговор – не иначе как с целью выявить все нити, все связи и всех поимённо, чтобы уж, выявив это, взять разом всех. Но... тут

последовала понятная пауза; изумлённый и взбудораженный Павел потребовал продолжать, говорить всё начистоту – и тогда, как бы тяжело помедлив, Пален сознался, что ему трудно о том говорить... но, по его данным, Её Величество и оба старших сына... да, вот такая ужасная правда.

В общем-то, эта встреча императора со своим неверным слугой – для нас теперешних классический «чёрный ящик», вещь в себе по Канту [33, 138]. Какой именно была беседа, что являл собой её эмоциональный фон... Всё это – пространство для мифологизированной, художествующей мысли. Достоверна ситуация лишь на входе и на выходе: граф Пален вошёл в покои императора; вышел же оттуда с подписанным указом об аресте или рассылке по монастырям всех членов царской фамилии и с договорённостью пока молчать о том указе.

Разумеется, Пален молчать не стал. Он направился к Александру и с удовольствием показал тому бумагу о его аресте – трепетный молодой человек так и залился горьким плачем. Палену, с его давным-давно зачерствевшей душой, переживания наследника были абсолютно неинтересны, он терпеливо ждал, а когда царевич, наконец, наплакался вдоволь, вытер слёзы – железным тоном заявил, что действовать надо немедленно, иначе всё пропало. В том числе и он сам, великий князь Александр – пропал тоже.

Долгое время после 1801 года Михайловский замок стоял неприкаянной громадой. Пытались там устроить жилые квартиры, даже организовали молельную комнату для петербургских мусульман (мечети в городе ещё не было) – но всё это как-то не прижилось. Лишь в 1819 году, и уже на много-много лет в замке обосновалось Военно-инженерное училище, а сам замок стали неофициально называть Инженерным. Училище приобрело славную историю, дало России много знаменитостей; а в 1837 году туда поступил самый знаменитый из его воспитанников, прославившийся, впрочем, вовсе не в науках геодезии, картографии и фортификации... Этого курсанта звали Фёдор Достоевский.

*Случайностей в мире нет – и право же, глубоко символично то, что всемирно признанный тонкий исследователь тeneвых, потаённых, фантастических сторон человеческой души юность свою провёл в странном, мистическом здании, почти лабиринте. Достоевский, родившийся в Москве – писатель, конечно же, петербургский, наверняка он не мог бы состояться нигде, кроме как в «самом умышленном» городе в мире, и жизнь его не могла пройти мимо «самого умышленного» здания в этом городе. Замок ведь не только полон был сумраком, вздохами и завыванием ветров – часть покоев в*

нём стояла наглухо запертой, и доступ туда был строжайше запрещён. Но разумеется, курсанты всё знали – цензура цензурой, а слухи слухами, и перекрыть их все невозможно. Не смея говорить громко, люди передавали шёпотом подробности того, что случилось в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. Естественно, что юнцы, жившие в Инженерном замке, любители, как все юнцы, «страшных историй», запугивали друг друга рассказами о том, как по бесчисленным залам, коридорам, лестницам бродит тень покойного императора со свечою в руке (это отлично описано Лесковым в рассказе «Привидение в Инженерном замке»)… Как зародилась в Достоевском одна из главнейших для него нравственных тем: возможность или невозможность оправдания аморального действия, если это действие в теории должно привести к гораздо более благодетельному результату?.. Конечно, Достоевский не первый, кто к данной проблеме всерьёз отнёсся, но никто иной не смог с такой художественной силой выразить её человеческое измерение – причём в разных житейских ипостасях. По-своему решает её Раскольников. Она же, но иначе, встаёт перед Иваном Карамазовым.

Трагедия Ивана в том, что он допускает возможность такого локального аморализма во имя «большой морали», а когда осознаёт, что это не так, то уже поздно. Видя, как безнадежно усугубляются обстоятельства в доме отца – старого циника и безобразника – Иван про себя думает, что было бы лучше, если бы папеньку кто-нибудь прикончил; тем

самым весь узел неразрешимых противоречий сам собой распадётся. Стоило только так подумать – и все события как нарочно стали подвёрстываться под этот сценарий... Тогда-то Иван, философски усмехнувшись, предоставил событиям течь по руслу судьбы, а сам умыл руки.

Разумеется, всё так и случилось, и Иван Карамазов стал свободным и богатым, обладателем немалого наследства, человеком, пред которым открыты все пути – твори благо хоть всему мирозданию... Но Ивану не творится, в душе у него тяжкий мрак. Он понимает: что-то вышло не так, причём непоправимо не так. Он долго не решается взглянуть в глубину своей души, а когда, наконец, это происходит, с ужасом осознаёт, что его саркастическая уклончивость была не только расценена как санкция на убийство, но и сам он, Иван, всё знал. Знал, что именно так и будет, но старался уверить себя в том, что знать ничего не знает, ведать не ведаёт... А теперь ему ясно: он ответствен за смерть отца, и самое страшное здесь то, что никакого блага и добра отныне он создать не сможет. Никогда! – совершённая им подлость отравила всё будущее.

Конечно, люди разные. Для кого-то таких высоких моральных переживаний не существует (что не значит, что их нет!). Но для Ивана Карамазова оказалось, что нельзя жить на Земле как человеку, если грех на твоей душе – все твои добрые дела, какие б ты ни делал, будут рассыпаться в прах.

Нет оснований утверждать, что основная коллизия «Братьев Карамазовых» была навеяна Достоевскому именно историей царя Павла и царевича Александра. Скорее, жизнь сама во множестве плодит подобные сюжеты, а уж близ власти они проступают рельефнее, острее, ярче... Немудрено, что отношения отца и сына, императора и наследника, сплелись в такой клубок.

Впрочем, рассуждать легко, тем более много лет спустя. Не забудем и о молодости Александра. Да, в «большом мире» люди взрослеют раньше, это верно. Но даже опытному царедворцу в лабиринтах изошрённых интриг приходится иной раз туго, а цесаревич в то время опыта лишь набирался; правда, набрался весьма успешно, о чём мы ещё поведаем... Да ведь и не просто придворный он был, но официальный наследник – стало быть, его-то этими интригами и раздирали на части, и ему приходилось в суровых взрослых играх хуже всех.

Не стоит воспринимать это в качестве неких адвокатских сентенций. Надо лишь не забывать простую и великую мудрость: **«Не судите, да не судимы будете» [Матф.,7:1]**. Когда перед личностью встаёт моральная дилемма по закону исключённого третьего: либо-либо, причём одно из этих «либо» ты сам – то каково решиться на другое?.. Обычному, нормальному человеку себя в данной роли, наверное, даже представлять не хочется.

Вот и Александр надеялся выскользнуть из безжалостных клещей формальной логики в логику диалектическую, где «или-или» не враги, но две стороны одной медали – не противоречия, а противоположности, взаимно дополняющие друг друга. Подобно Ивану Карамазову, Александр страшился взглянуть в лицо реальности, отчаянно желая, что она будет милостивой: то есть, что отца принудят подписать отречение, и он со всем подобающим пиететом будет вести жизнь отставника. Наследник тешил себя этой сказкой, не решаясь думать иначе – но уж кто-кто, а он-то знал отца! Знал, что такое для того быть монархом: что отречься для Павла значило – умереть, порвать связь с Богом; а умереть, но не отречься – жить вечно. Уйти в вечность, возможно, раньше, чем хотелось, оставив незаконченные дела на Земле – но всё же не умереть, не сгинуть.

Можно высказать осторожное предположение, что Александр уповал ещё и на чудо: нечто такое, чего он слабым человеческим разумом не может осознать и предвидеть, но что, будучи мудрее нас, каким-то непостижимым образом, само собою развернёт, выправит все обстоятельства, и всё устроится миром... Всё-таки очень, очень хотелось верить в это.

И это, конечно, не сбылось.

Павел, выслушав Палена, всё же не стал «класть все яйца в одну корзину», а поступил осмотрительнее, оставив за собой запасной вариант: тайно от градоначальника велел послать за Аракчевым, незадолго до того попавшим в организованную тем же Паленом опалу и теперь пребывавшем в Гатчине... В данной ситуации проявилось то, что с непреложной закономерностью продолжалось и далее: ни отец, Павел I, ни сын, Александр I, не могли обойтись без этого стержня отечественной бюрократии. По навету Палена Павел обрушил было немилость на Алексея Андреевича, а когда обстановка осложнилась, выяснилось, что без Аракчева не обойтись.

Но и Пален предусматривал развитие событий на несколько ходов вперёд. С Аракчевым они один другого ненавидели, но в данном случае это большой роли не играло – надо было только успеть, пока есть выигрыш во времени. Явление Аракчева сломало бы всю комбинацию, и всем полицейским силам столицы было строжайше велено не пускать того в город – что, как позже выяснилось, и спасло заговорщиков. Да, Пален рисковал – но риск оправдался.

Мятежникам удалось объединить силы в ночь с 11 на 12 марта, когда дежурство в Михайловском замке нёс третий батальон Семёновского полка, лояльный Александру: он считался шефом этого подразделения. Командир же полка,

генерал Леонтий Депрерадович также был в числе инсургентов.

Пален, как всегда, был умнее всех: он в замок не пошёл. Прочие же участники путча: братья Зубовы, Депрерадович, генералы Беннигсен, Талызин, комендант замка Аргамаков, толпа гвардейских офицеров, в том числе и знатнейших родов – Долгорукий, Волконский, другие – для храбрости сильно подкрепившись спиртным, двинулись совершать «революцию»...

Не стоит, пожалуй, входить в подробности той кошмарной ночи: они описаны-переписаны бесщётно. Единственно, на что хотелось бы обратить внимание – что все эти описания заметно разнятся. Это не удивительно; напротив, крайне характерно. Это значит, что в такие страшные мгновения разум человеческий мутится – некий сдвиг в сознании, а может – кто знает?! – и в самом пространстве-времени. Оно смещается, рвётся его ткань, и что там видится, что чудится в этих разрывах, какие призрачные флюиды иных пространств вливаются в наш мир, меняют взоры, омрачают ум... Неведомо. Когда убийцы, наконец, опаматовались, а может быть, и протрезвели – изувеченное тело императора лежало бездыханным на полу спальни.

Общепринято считать, что смертельный удар золотой табакеркой в висок нанёс Николай Зубов, человек физически очень сильный. Но и после того, обезумевшие, утратившие контроль над собой и над реальностью люди душили, били и

топтали жертву. Били уже мёртвого.

Итак, дело было сделано. Но не закончено. Неофициальные свидетельства утверждают, что, узнав о смерти мужа, императрица Мария Фёдоровна, полуодетая, ринулась к его покоям с криком: «Я буду царствовать!» Её, правда, перехватили и вразумили: царствовать будет Ваш старший сын, а Вам, Ваше Величество, лучше бы не шуметь, угомониться, да помолиться за упокой души новопреставленного раба Божьего Павла... Внушение оказалось действенным – больше эксцессов не было.

Наверное, нет значимых оснований говорить о явной причастности Марии Фёдоровны к заговору. Знала ли она о нём, утаивая это от мужа?.. Это весьма вероятно; и дело здесь не в какой-то особо изошрённой злонамеренности: очень уж сложно, до крайности непредсказуемо складывались обстоятельства при дворе в последние месяцы правления Павла. Умная царица прекрасно понимала, что всякая инициатива в данной обстановке наказуема смертельно. Поэтому Мария Фёдоровна могла тщательно собирать информацию, ничего не предпринимая и выжидая, когда всё разрешится чужими руками... Теоретически она оказалась права – но теории в политике немногого стоят.

А что же старший сын? Он, похоже, до конца так и надеялся на чудо, на то, что удастся-таки разрешить кризис мирным путём. Когда же этого не случилось, Его Высочество... то есть, уже Его Величество; так вот, Его Величество Импе-

ратор Всероссийский, конечно же, расплакался.

Наверное, фон Пален, ощущавший себя в этот миг «делателем королей», победно и с упоительным превосходством смотрел на нового своего государя. Но долго так смотреть было нельзя, дело всё-таки ещё не закончено, войска волнуются, несмотря на то, что уже был пущен слух, что государь Павел Петрович скончался «апоплексическим ударом». Необходимо объявить это устами нового царя, и необходимо, что бы он при этом был твёрд – печален, как подобает любящему сыну, но и твёрд; и чтобы успокоил дворянство, сказав, что Павловские чудеса закончились, и возвращается всем любезный порядок матушки Екатерины...

И тогда Пален шагнул к Александру и произнёс самую знаменитую свою фразу, с коей и вошёл в историю:

– Полно ребячиться, Ваше Величество! Ступайте царствовать.

Точности ради приходится отметить, что произнёс он эти слова по-французски, вот так: «C'est assez faire l'enfant, allez regenter»[14, 202].

И юный император вытер слёзы и пошёл царствовать. Начал со лжи, причём солгал дважды, заявив общественности так:

– Батюшка государь-император скончался апоплексическим ударом. При мне всё будет, как при бабушке...

И площадь, полная людьми, ответила:

– Ура! Ура, Александр! Ура, ура, ура!..

Так чем же было для России царствование Павла? Благодарением, случайностью или несчастьем?.. Да, наверное, ни тем, ни другим и не третьим. Но важной вехой оно, безусловно, стало. После Павла Петровича цареубийства в России не прекратились, но навсегда закончились дворцовые перевороты, и кровавые и бескровные. (Иногда приходится слышать, что последней такой попыткой стало восстание декабристов; однако, с такой трактовкой согласиться трудно. Это событие имеет иную социальную природу, декабристы – люди иной эпохи). Павел изменил конфигурацию придворной жизни: он погиб, но и гвардия перестала быть янычарщиной, торгующей военной силой на рынке дворцовых конъюнктур. Именно это и явилось важнейшим итогом краткого царствования. Восемнадцатый век в России со смертью Павла кончился не только календарно. Он кончился в самом деле. Начался другой отсчёт.

Наверное, не совсем так хотел войти в историю Павел Петрович, не только этим. Но – не всегда мы выбираем пути... Пророчество монаха Авеля оказалось неопровержимым. Свобода выбора дана людям, но каждый сам должен разгадать, где он, этот выбор, где тебя ждёт развилка, как её увидеть... И такое знание, конечно, даёт вера. Это слово заезжено, и большей частью понимается плоско и тривиаль-

но, тогда как метафизически вера есть, безусловно, раскрытие особых измерений пространства-времени... Приходится с грустью констатировать, что император Павел, несмотря на горячее желание верить и на некоторый мистический талант, оказался всё же подслеповат в сумерках политики. Злые сплетни, обман, предательство и недоверие – тьма, в которую он завёл себя сам, из которой хотел выбраться, да так и не сумел. Но монаршая и рыцарская честь его осталась непоколебимой: он выполнил свой долг перед самой угрозой смерти, не отступил, не испугался, не пал духом – и умер, не отрекшись.

Да, случайностей нет – ни на этом свете, ни на том. Гробница императора Павла I в Петропавловском соборе со временем обрела славу чудотворной: считается, что заступничество покойного государя выручает из беды. Так ли это, нет – спорить бессмысленно. Если уж людям хочется думать, что могила именно этого человека обладает благодатными свойствами – то этот человек, наверное, искупил свои грехи, которые у него, конечно же, были, как у всякого, жившего на Земле.

# Глава 3. Прекрасное начало?.

## 1

Действительно, таким ли уж прекрасным оно было – самое-самое начало?..

Представим себе душевное состояние новоявленного императора: отец убит, вокруг ликуют убийцы и сторонники их, уверенные, что вернулось вспять золотое Екатерининское время. Мать брезгливо сторонится сына, он от этого страдает, а ведь это далеко не самая едкая соль, которая сыплется на его душевные раны. Ему приходится чуть ли не под руку прогуливаться с сияющим Платоном Зубовым, улыбаться ему... Да и прочие цареубийцы кажутся Александру столь же омерзительны, а что делать? Что делать, кто подскажет!..

Но самое ужасное – Александр видел изувеченный труп отца. Бытует мнение, что этот показ молодому человеку организовали специально: как бы ненароком, а на самом деле с умыслом – что бывает с царями, которые не умеют найти общий язык с аристократией...

Как в этот миг содрогнулась Александрова душа?! Представить это невозможно, а пережить – не дай Бог никому. Говорят, император как увидел страшную картину, так и рухнул в обморок [5, 87]. Организаторы должны были быть до-

вольны: перформанс удался.

Они думали, что пугают робкого, кроткого юношу. И ошиблись. О, как они ошиблись!.. Этот юноша прошёл не школу, но академию увёрток и притворства – и теперь заглянуть кому-то в глубь его души стало почти нереальным, примерно так же, как увидеть своими глазами южный полюс. Хотя, конечно, обморок был настоящий: какие уж здесь игры!.. Но Александр встал из этого падения. Встал – и никто из мятежников не понял, что случилось.

Случилось то, что их время вышло. Юноша встал – а их не стало. Не физически, а политически, но и этого довольно. Ликуя, упиваясь победой, они были слепы. А он нет. Спасибо им: слишком жестокий урок преподали они воспитаннику, не догадавшись, чему научили его. Научили ждать, а это большое дело! Александр выждал – и они вдруг увидали, что пред ними не воспитанник, не марионетка какая-нибудь, а настоящий царь, вежливый, но непреклонный. И настоящая власть у него, а не у них.

Всё это так. Но тот страшный миг!.. Он раскалённым тавром врезался в память Александра. Как жить дальше с такой памятью? Как жить?!

И здесь никак не обойти вопрос: а не блуждали ли в эти дни в нём, в Александре, мысли о самоубийстве?.. Правда, и ответить на него нечем, если не пускаться в зыбкие дебри психологических гипотез. Если же пуститься, то ответ один: по душевному своему складу Александр просто не мог прой-

ти мимо. Но и сделать это он не мог. Не прошёл, но и не дошёл. Прикоснулся к этой мысли, ужаснулся и постарался забыть о ней. Почему?

Мотивы веры и греха им ещё в ту пору не владели, он был очень от них далёк, попросту ничего не смыслил в них. Был слабоват духом? Это похоже на правду. Но... «не судите, да не судимы будете». Предъявлять двадцатичетырёхлетнему юноше счёт на то, что он не расплатился жизнью за малодушие, было бы слишком жестоко.

Честнее же всего будет сказать так: напереживавшись и наплакавшись, молодой самодержец вытер слёзы, сжал зубы и сказал себе: что ж, посмотрим. Ступайте царствовать, Ваше величество?.. Ладно, ступлю. Сами сказали так.

Конечно, невозможно назвать день и час, когда произошло превращение нежного юноши во властелина. То был долгий процесс. Разумеется, мощную рыцарскую длань приложил к этому «государь-батюшка», Павел Петрович, державший семью так, что все ходили по струнке. Последние же месяцы отцовского правления царевичу пришлось совсем тяжко – тут уж не до идиллий, коим он предавался некогда, мечтая с женой о том, как бы им славно жилось в маленьком домике на берегу Рейна... Какой там Рейн, какой домик – голову бы удержать на плечах.

Однако ж, обошлось. Но какой ценой! Слёзы Александра были искренними, хотя он и понимал, что ими горю не поможешь. И всё-таки выплакаться, наверное, было необходи-

мо, слёз просила раненая душа, они приглушали боль... С этой болью надо было жить дальше, да не просто жить, а царствовать, от этого уже не отвертеться: тесно толпятся вокруг жаждающие прежней вкусной жизни и требуют – не просят, а требуют! – чтобы новый царь им эту жизнь обеспечил...

Не стоит, однако, думать, что Александр с таким уж отворачиванием воспринял свою венценосность. Душа его болела, и для радости причин было немного, но ведь с воцарением и возможности открывались особенные, которых прежде не было – хотя бы возможность вывести страну на верный путь; верный, с его, конечно, Александра Павловича, точки зрения. Ведь всё-таки его целенаправленно готовили в цари... Надо прочно взять власть в руки, а уж тогда подготовить сильно запущенное российское государство ко введению конституционной и республиканской формы правления, установить её, а самому сложить себя тяжкий венец и зажить спокойно и счастливо рядовым гражданином среди таких же равноправных и счастливых граждан.

Для того нужна была хитрая тактика – и он сумел её найти. Из того, что последовало далее, можно предполагать, что он с самого начала не собирался возвращать постаревшим и облезлым бабушкиным прихлебателям их «золотой век», ибо сознавал, что век золотым не был; был он позолоченным, причём с позолотой, нанесённой на дурно пахнущее исподнее. Но пока Александр полностью зависел от вчерашних путчистов, он вынужден был с ними лицемерить. Он

ещё раз подтвердил, что править намерен по закону «в Бозе почивающей августейшей бабки нашей» [74, т.2, 29], отменил множество отцовских постановлений, ущемляющих права дворянства, добавил к ним ряд своих, прекраснодушных и совершенно никчёмных... Царедворцы ликовали. Им чудилось, что прекрасное прошлое вернулось.

Да, они недооценили молодого царя – история старая как мир и вечно новая: придворные группировки возводят на трон слабого, как им кажется, правителя, надеясь за его зиц-председательской спиной вкусить земных сладостей волю... Но не тут-то было.

Надо признать, что из придворной жизни Александр умело извлёк урок практического макиавеллизма – флорентинец Никколо учил, что правитель должен уметь быть львом и лисой одновременно: если до льва юный Александр наверняка не дотягивал, то уж лисой-то стал. Спасибо, научили.

Он улыбался, расточал тонкие любезности, прогуливался под руку – а его собеседники и не подозревали, что их закат близок... Естественно, император не собирался удалять всех: при дворе имелось немало служак, умевших быть полезными при любом режиме, как тот же Николай Салтыков; но ясно было, что никчёмным людишкам, «Максим Петровичам» и Зубовым в новой политике не место. Потому что ничего, кроме интриг, сплетен, неизлечимой подозрительности и пошлой грязи они создать не способны.

Пален – тот да, способен. Но совсем не то, чего хоте-

лось бы императору. Не лишено вероятности, что для Александра, по его ментальному складу, этот человек так и остался загадкой – которую, правда, разгадывать совсем не хотелось. Пален был превосходный администратор. Но кто знает, не вошёл ли он во вкус, свергая и возводя царей?.. Как показало дальнейшее – нет, и за придворную жизнь не цеплялся. Вполне вероятно, он и в самом деле считал, что свершил правое дело – хотя наверняка бы обезопасил себя в случае неудачи, и всех сподвижников бы сдал, и Александра тоже, и не дрогнул бы.

Понимал это Александр? Конечно. Хищный зверь, раз вкусивший человечины, становится людоедом. Пален же травоядным никак не был, и у царя были все основания его страшиться. Страхи, правда, не сбылись – но всё же Александр не монах Авель, чтобы всё предвидеть... А вот искусным лицедеем он стал, ничего не скажешь. С тем же Паленом, так и остававшимся военным генерал-губернатором, он был вежлив, обходителен – совершенно деловые, рабочие отношения плюс общепризнанное обаяние Александра. Мария Фёдоровна, которая графа видеть не могла, была крайне возмущена тем, что сын любезничает со «злодеем» – но в данном случае сын оказался лишь умелым и хладнокровным политиком.

Итак, ни бабушкины бездельники, ни ужасный Пален негодились в соратники по настоящей политике, а не по шушуканьям или переворотам. Но не годилась также и чрезмер-

ная резкость Павла Петровича, действовавшего сплеча, наотмашь, без продуманных планов, без чёткой концепции... Не стоит забывать – Александр был всё-таки учеником Лагарпа. Будучи ходульным моралистом, швейцарец как-никак явил себя неплохим педагогом; по крайней мере, чувство справедливости в воспитаннике пробудил. Теперь воспитанник стал императором, и для осуществления высоких целей ему требовались люди, понимающие его, близкие по духу, проникнутые теми же идеями справедливости, человечности и добра – в разумении самого Александра, понятно. Долго искать таких людей не пришлось: вот они, его прежние друзья, те с кем он в юности так светло мечтал о свободе, о счастливой и прекрасной жизни! Конечно, хорошо бы, если б жизнь такая протекала в некоей благоухающей Аркадии, где нет вражды и процветает всеобщее умиление... Но что ж делать! Приходится довольствоваться тем, что есть. От трона не ушёл; но кто знает, ведь судьба видит дальше нас и больше – раз так она распорядилась, стало быть, зачем-то это нужно. Истории потребовалось, чтобы Александр Павлович оказался на троне Российской империи. Значит, надо действовать.

## 2

В годы Павловского царствования друзья Александровой юности рассеялись по белу свету; не то, чтобы император их как-то преследовал (хотя и тёплых чувств к ним не питал) – но сами, от греха подальше. И когда режим Павла пал, и воцарившийся друг призвал их к себе – друзья, надо признать, не очень-то поспешили на зов. Они уже достаточно пожили при дворе, знали, что такое дворцовые нравы. Призыв прозвучал ещё в марте, сразу после переворота, а собраться всем вместе удалось только 24 июня. Конечно, через два столетия три с половиной месяца покажутся пустяком, но если применить этот срок к нашей повседневной жизни... За это время Александр успел заметно видоизменить как внутреннюю, так и внешнюю политику: он отменил цензуру, восстановил привилегии дворянства, облегчил положение духовенства, упразднил Тайную экспедицию (Павловскую «Лубянку»). Он отказался от звания Великого Магистра Мальтийского ордена и соответственно от прав на Мальту, параллельно с этим спешно выправляя русско-английские отношения (сильным было проанглийское лобби!). В июне дружественные связи с Британской империей были полностью восстановлены. Донское казачество возвратилось к месту постоянной дислокации.

И, пожалуй, самое важное установление первых месяцев

Александрова правления: был образован совещательный орган при царе – так называемый Непременный совет, послуживший прообразом впоследствии созданного (тоже Александром) Государственного Совета – тот просуществовал до последних дней империи. Функции его за эти сто с лишним лет постепенно видоизменялись, эволюционировали, но суть оставалась той же: члены Совета должны быть мудрыми наперсниками государя, теми самыми «философами» из Платонова государства. Новорождённый Непременный совет состоял из 12 человек (мистическое число, как же!) – правда, никакие «философы» там не отметились, а засела всё та же Екатерининская гвардия, в том числе двое братьев Зубовых. Руководить данным заведением доверили непотопляемому графу Салтыкову.

Немного странным выглядит то, что, создавая важнейший государственный орган, император ввёл в него людей не самых, мягко говоря, солидных. Царедворцы же, кстати говоря, были в восторге: им казалось, что молодой правитель им угождает, ещё расширяя область их аристократических привилегий. На самом же деле... Впрочем, не так-то просто сказать, как оно было на самом деле: то ли император посредством Непременного совета делал отвлекающий маневр, то ли классически разделял и властвовал, дабы выявить, кто будет эффективнее: Совет или «группа товарищей», вскоре названная Негласным Комитетом... Всё-таки в Совет, помимо придворного балласта, входили и действительно умелые ме-

недгеры, и можно было, со временем отсеяв никчемный материал, рассчитывать на них. Если так, то политический разум начинающего самодержца убедителен; хотя здесь всякое исследование впадает в область домыслов. Опережая события, скажем, что Совет оказался куда более живучим, но рассчитывал ли на это Александр, затевая комбинации, теперь неизвестно, да и не суть важно.

Меж тем, он вывел из «обоймы» и Палена, и тоже в лучших традициях макиавеллизма. Император спокойно переждал недовольство матери (вообще, их отношения заметно осложнились), дождался подходящего, как ему показалось, момента, ничем абсолютно своих намерений не выдавая: в последний из совместных рабочих дней царь и столичный губернатор обговорили некие насущные дела, вполне по-товарищески расстались – а на следующий день специальный гонец объявил Палену государево неудовольствие в виде строгого приказа оставить службу и удалиться в своё имение в Курляндию.

Граф удалился, не переча. Весь немалый остаток жизни – пережив и самого Александра, правда, лишь на три месяца – он провёл безвыездно в имении. По слухам, в одном приватном разговоре обмолвился, что насчёт 11 марта душа его спокойна, и он сумеет дать за это ответ Богу... Но по другим слухам, всякий раз в ночь с 11 на 12 марта, из года в год Пален мертвецки напивался [44, т.3, 161] – ровно и методично, пока не отключался. Это было всё, что осталось бывшему

генерал-губернатору от прошлого...

Зато для Александровых друзей всё только начиналось.

### 3

Кем были эти (к 1801 году, кстати говоря, не столь уж молодые) люди?

Разумеется, все они были масонами. Все стремились к «свободе» – что, собственно, ничего не значило; примерно как сегодня ничего не значат обесмыслившиеся заклинания о демократии и правах человека. При этом они были достаточно разными людьми, те четверо, что составили самый ближний круг самых первых лет императора Александра: князь Адам Чарторыйский, граф Виктор Кочубей, граф Павел Строганов, граф Николай Новосильцев.

О Строганове – самом молодом из этой четвёрки (старше Александра на пять лет), мы уже немного знаем. Жизнь его складывалась причудливо с самого рождения, и уж как оно началось, так и шло. На государственном поприще, в политике он ничем себя не проявил, да и вообще, если сказать правду, ничего путного в своей жизни не сделал. Был храбр, участвовал во многих битвах – этого не отнять. Но не менее храбро сражались в революциях и войнах тех лет тысячи людей, просто у них не имелось тех возможностей, которые были даны графу деньгами и происхождением – а он эти возможности пустил в дым. Вот уж воистину: как с самого начала пошло...

Один из богатейших в России, род Строгановых вёл на-

чало от пермских купцов и промышленников, ещё при Иване Грозном осваивавших Урал и Сибирь – тогда дикие, почти сказочные края. Оттуда и несметные богатства: будучи частными лицами, Строгановы получили государев патент на освоение неизведанных земель. Они исправно снаряжали экспедиции (в том числе Ермака), отсылали царям богатейшие трофеи – самый что ни на есть яркий пример успешного сотрудничества государства и бизнеса.

Деньги сделали Строгановых дворянами, затем баронским, а потом и графским родом. Друг императора, Павел Александрович, уже родился графом (правда, не российским, а австрийским – его отец получил высокий титул от императора Франца I; российское же графство досталось Строгановым попозже, от Павла Петровича) – а случилось это во Франции. Отец, Александр Сергеевич, был человек добрый, щедрый, великодушный и совершенно беспорядочный, жизнь посвятил тому, что проматывал огромное своё состояние, чего в конце концов и достиг – умер в долгах как в шелках. В течение многих лет он устраивал в собственном петербургском доме бесплатные обеды для всех желающих, куда являлись чуть ли не сотни людей; как гласит предание, когда один из таких давнишних нахлебников вдруг не пришёл, никто не знал, где его искать, потому что не знали о нём ровно ничего: кто таков, как зовут, где живёт... Ну и уж нечего говорить, что Александр Сергеевич увлекался всеми новомодностями эпохи: и масонством, и розенкрейцерством,

и вольтерьянством; не обошлось, разумеется, и без Калиостро – среди тех, кому итальянский граф-самозванец морочил головы персонально, был граф русский, настоящий, но безалаберный... Будучи же во Франции, Строганов-старший возжелал познакомиться с самим Вольтером воочию, покатыл к тому в поместье Ферней (в Швейцарии), вместе с беременной женой. Какой мудрости почерпнули в этом визите русские гости, доподлинно неизвестно, зато известно, что поехали из Парижа в Ферней двое, а вернулись трое – на обратной дороге графиня разрешилась от бремени мальчиком Павлом.

Родители его продолжали вести жизнь суетную и вздорную, сыном, по существу, не занимались... Но вот прошло сколько-то лет, и в семействе Строгановых возник домашний учитель, некто Шарль Жильбер Ромм [59, т.12, 137], человек, в котором модное просветительско-атеистическое мировоззрение приобрело особенно неистовый характер. Говорят, что когда умер один из графских слуг (там же, в Париже), и явился отпевать покойного местный католический священник, то Ромм и юный Строганов стеной встали на пути кюре, крича в два горла, что не допустят «мракобесия» и «суеверий»... Но должно сказать, что Ромм во все не был анекдотическим персонажем. Умный, яркий, бесстрашный – он, конечно, покорило сердце воспитанника.

Когда в 1779 году Строгановы наконец-то засобирались в Россию, Ромм не захотел расставаться с ними и поехал тоже.

Но тут как-то всё пошло неладно и нескладно, легкомысленная графиня завела роман с одним из мимолётных фаворитов Екатерины, Римским-Корсаковым, а благородный граф отписал супруге одно из имений, куда любовники и удалились. Молодой же Павел Строганов и его учитель, влекомые тягой к познаниям, много колесили по стране; с ними путешествовал крепостной юноша Андрей Воронихин, будущий знаменитый архитектор... Теперь неразлучны сделались все трое, и через какое-то время так втроём и отправились обратно в Париж.

Где и грянула революция!

Ромм и Строганов тут же сделались якобинцами (благоразумный Воронихин от греха подальше отбыл домой и вообще в политику никогда не лез). Иной раз пишут, что в Якобинском клубе молодой аристократ, по революционной моде прозвавший себя гражданином Очером (брат короля, например, герцог Орлеанский, взял псевдоним «гражданин Эгалисте», гражданин Равенство, то есть – что, однако, от гильотины его не избавило) ничем не выделялся, да и в штурме Бастилии вроде бы не участвовал... Кто знает, может и так. Но уж чего не отрицает никто – brutальной, напоказ, на весь Париж связи Строганова со знаменитой «гетерой революции» Теруань де Мерикур [68, 63], тоже ставшей своеобразным символом той переломной эпохи.

*Этой особе, возможно, и не стоило бы уделять внима-*

ния как таковой, но – почти Сократова ирония! – её нелепая и печальная судьба стала странным кривым зеркалом, в котором отразился излом мировой истории, трагическое и фарсовое, сплетённое так, как никакая фантазия не смогла бы выдумать...

Забавное дело: аристократы, ставшие революционерами, отказывались от титулов, превращаясь в «граждан». Зато простолюдины наоборот, навешивали на свои фамилии дворянские приставки, словно революция нужна была им для того, чтобы обрести возможность чваниться. Пушкин вспоминал о своём лицейском преподавателе Будри, родном брате знаменитого Марата, «друга народа»: «Екатерина II переменяла ему фамилию по просьбе его, придав ему аристократическую частицу *de*, которую Будри тщательно сохранял. Он был родом из Будри» [49, т.7, 185].

Анна Теруань, дочь выбившегося в купцы разбогатевшего крестьянина, была родом из деревни Мерикур [80, т.65, 94] – отсюда и псевдо-дворянское имя. Жизнь её с юности закружилась в вихре романтических приключений: в семнадцать лет она сбежала из дому с каким-то провинциальным Дон-Жуаном... Во Франции все пути ведут в Париж, туда вскоре и направила мадемуазель юные стопы. Ну, а когда польхнула революция, она с восторгом поняла, что пробил её час – и со всем пылом отдалась политической стихии.

Недоброжелатели сильно постарались очернить моральный облик Теруань, и это им в исторической перспективе, в

общем, удалось. А в сущности, она вовсе не была такой уж кровожадной, какой её расписывали злопыхатели; напротив, неоднократно удерживала толпу от бесчинств, и толпа слушалась: авторитетом эта дама пользовалась немалым. По-настоящему свирепые революционеры, вроде того же Ромма, люто ополчились на неё, и ей даже пришлось на какое-то время покинуть страну. Впрочем, вернувшись, она с тем же пылом ринулась в ту же стихию, без которой больше не могла жить.

По-видимому, психически неуравновешенной Анна была изначально. Может быть, в другую эпоху это и осталось бы втуне, но времена не выбирают...

В 1793 году, когда революционеры сцепились и начали жёстко конфликтовать уже друг с другом, она горячо вступилась за умеренных, так называемых эжирондистов, от чего экстремисты-якобинцы готовы были её растерзать. Конфликт зашёл слишком далеко, и шансов закончиться мирно у него не осталось, чего Анна, вероятно, не понимала... 31 мая на площади близ Конвента она разразилась горячей речью в поддержку эжирондистов, после чего пошла зачем-то в сад Тюильри (это рядом, надо перейти мост через Сену). Тут её подкараулила группа эженицин-якобинок: разъярённые, с воплями они набросились на политическую противницу, повалили, заголили нижнюю часть тела и больно отстегали прутьями.

К этому моменту разум, видимо, и без того непрочно дер-

*жался во взбаламученной голове Теруань – а от такого шока он совсем слетел с орбиты, и, увы, навсегда. Долгий остаток жизни – четверть века! – она провела в сумасшедшем доме, в тяжком безумии.*

*Как это странно, если вдуматься, как странно, Боже правый!.. Она жила – и ничего не знала о том, что где-то рушатся царства, армии ходят на край света, Европу корёжит в страшных войнах, Кант с Гегелем мыслят о вечности, механик Иван Кулибин строит удивительные механизмы, в небе сияет странная комета, границы и вожди разных стран призрачно возникают, смещаются и рушатся; то тут, то там всё чаще дымят неуклюжие паровозы и пароходы... и вот, за двадцать лет всё изменилось так, что то, прежнее, теперь кажется чем-то странным, далёким, очень далёким – то ли оно было, то ли не было... А для несчастной женичины этих лет вовсе не было, её время превратилось в стоячую воду, мир прошёл мимо, забыв о ней, живой, но утонувшей в беспомощности.*

Для Строганова «вихрь революции» завершился ещё в 1790-м – когда, Екатерина строжайшим указом велела россиянам покинуть Францию. Якобинские подвиги графа она сочла до крайности неприличными и отправила его в ссылку, правда, не обременительную... Любимый же учитель, Жильбер Ромм, вздымал тот самый вихрь лично: извергал кипящие речи, требовал казни короля, возненавидел хронологию.

гию от Рождества Христова и нормальные названия месяцев – революционными летосчислением и календарём (кстати с удивительно поэтичными названиями: месяц туманов, месяц лугов, месяц колосьев... – даже странно, что столь утончённые имена были придуманы жестокими, безжалостными людьми) история обязана именно Ромму [10, т.19, 405](через сто с лишним лет русские большевики, которые вообще много обезьянили с революции французской, пытались воскресить эту идею)... Ясно, что долго вакханалия безумия длиться не могла вообще, и соответственно, не могла долгая счастливая жизнь быть суждена Жильберу Ромму.

«Революция пожирает своих детей,» – эту горькую истину якобинец Дантон осознал тогда, когда его потащили к гильотине. Террор имеет свою логику – шизофреническую, но неопровержимую, как логика раковой опухоли. Он не кончается, покуда не пожрёт самого себя – вот и якобинцы, разгромив жирондистов, принялись терзать друг друга. Они тоже оказались по разные стороны: были среди них такие, кого прозвали «бешеными»; что это за деятели, можно представить по одному тому, что даже Ромм не принадлежал к ним... Когда гильотина дождалась Робеспьера, террор вроде бы пошёл на спад – ибо голов и шей в стране сильно поубавилось; но оставались ещё, и буйных среди них хватало. В том числе и Ромм.

Он не угомонился – что совершенно закономерно кончилось смертным приговором, правда, не приведённым в ис-

полнение. Во многих грехах и бреднях можно обличить этого человека, но уж в чём его никак не упрекнёшь – так в отсутствии мужества. Приговорённые – Ромм и ещё пятеро – покончили с собой ударами кинжала (одного!), передавая его по очереди один другому...

Да уж, не были эти люди фиглярами, жили, верили и боролись всерьёз. Конечно, ни воззрения их, ни поступки – не пример для подражания, и если человек бестрепетной рукой лишает себя жизни, в этом есть нечто пугающее, мягко говоря, такое мрачное одичалое рыцарство; не Дон-Кихотское, нет, совсем иное. Но видно, и через это надо было пройти человечеству...

Строганов, узнав о смерти учителя, сильно горевал. Однако, время всё лечит, и такие раны тоже. Он женился, у него родился сын... Тут и подоспел государев зов прийти и делить бремя власти, и Строганов на него откликнулся.

Выше пришлось так много места уделить личности и похождениям графа Строганова потому, что в нём – как и в случае с Теруань де Мерикур, хотя иначе, по-своему вычурно, но очень характерно – отразились место и время. Павла Строганова можно назвать символом самых первых лет Александрова царствования, символом Негласного комитета: изо всех его членов он был самым юным (не считая царя), самым пылким, самым наивным и самым неудачливым. Да, разумеется, всё относительно, и считать, что он не сделал карьеры... впрочем, действительно не сделал. Она сама упала на него – то, чего тяжким трудом и десятым потом добиваются тысячи, а достигают единицы, далось графу легко и просто. Вот и Негласный комитет взялся за дело так, словно легко и просто показалось этим вершителям судеб наладить жизнь огромной страны.

«Кто в молодости не был либералом, тот подлец; кто к старости не стал консерватором, тот дурак,» – подобную фразу приписывают чаще всего Черчиллю, однако приоритет здесь принадлежит нашему Отечеству: впервые эту мудрость озвучил столп русского консерватизма Константин Победоносцев [93]. Сказал он это, разумеется, о себе, но именно то же самое можно сказать и про Кочубея с Новосильцевым, заглянув в их послужные списки. Время шло – оба они сделались

заматерелыми бюрократами, с титулами, должностями и орденами свыклись, как с честно нажитым имуществом, расставаться с ними не желали. Реформы? А реформы все и так сделаны, менять что-либо незачем. Конституция, крепостное право?.. с годами выяснилось, что и так не худо, без Конституции и с крепостным правом. Конечно, когда-нибудь всё это должно осуществиться, но спешить в столь трудном деле нежелательно...

Мудрость, как говорят, не всегда приходит с годами; бывает, что годы приходят одни. Но про двух бывших «негласных» этого не скажешь. Они чиновной мудрости обрели полной мерой.

Наверное, стал бы заслуженным придворным и Чарторыйский – но он был поляк, патриот несуществующего государства, к восстановлению которого стремился, поэтому его судьба сложилась иначе – о чём речь впереди. Что же до Строганова, тот консерватором не сделался по самой простой причине: не успел стать стариком... хотя таким людям как он, это, наверное, и не суждено. Старик-не старик, но ведь и юношей он не был, когда вёл себя престранно, удивляя казалось бы наученный ничему не удивляться Петербург... Надо сказать, однако, что престранная аттестация имела место в жизни мирной, а вот на поле боя бывший «гражданин Очер» был как рыба в воде, сражался беззаветно, будучи уже и в генеральском звании.

Но опять же: всё это будет потом. А пока, в первый год де-

вятнадцатого века, Негласный комитет, бурлит, кипит идеями. Самая ходовая – конечно же, Конституция, Синяя птица всех поколений наших либералов, за которой они гонялись столько лет, а догнав, с некоторым разочарованием обнаружили, что ничем особенным не отличается она от прочих пернатых. Сам Александр всё своё царствование пронынчился с нею, ничего толком не родил – и залежалый эмбрион достался его брату Николаю; правда, на один только день, 14 декабря 1825 года. Декабристы, выводя бунтовать солдат, не придумали ничего умнее, чем соврать, будто бы Конституция – это жена цесаревича Константина, и простодушные оболтусы радостно орали: «За Константина и Конституцию!» – а каких пряников они ждали от этой пары, теперь уж один Бог ведает. Николай же сработал резко, после чего тема на много лет закрылась.

Да и в Негласном комитете, против ожидания, дела пошли не очень радужно. Всем было ясно, что Конституция и отмена крепостного права – позиции вполне взаимосвязанные, одно без другого состояться практически не может. А вот с крепостным-то правом всё вышло совсем не так, как рисовалось в либеральных мечтах. Разумеется, и сам император и его вольнодумные друзья с негодованием воспринимали такое «унижение человечества» – теоретически; а вот практически... Практически память о Пугачёве была совсем свежей, даже для них, молодых, бунтовщика либо совсем не заставших, либо тогда бывших детьми. Дворянство худо-бед-

но держало под контролем огромные массы крестьян: иностранных, непонятных и, надо признать правду, полудиких людей. Что будет, дай им волю?.. Тут мечтатели замялись, заговорили невнятно... Нужно-де сперва всё тщательно обдумать, взвесить – семь раз отмерь, а уж потом отрежь. Про «семь раз отмерь», кстати, вполне здраво, но при одном условии: если эти отмеры целенаправленны, разумны; системны, иначе говоря. Тогда они действительно приводят к «отрезу» как оптимальному решению. В ином же случае рассуждения превращаются в софистику в худшем смысле этого слова.

Александр, надо полагать, довольно быстро понял, что дело вышло не совсем так, как хотелось – но ведь у него в запасе имелись ещё старые вельможи, из Непременного совета и не только. Он был очарователен, улыбался любезно и чуть застенчиво – левое ухо у него так и не слышало... Но правым вслушивался чутко; да и глаза, пусть и немного близорукие, слава Богу, на месте; эти органы чувств явственно сообщали императору, что старики народ хотя не очень приятный, ершистый, строптивый и уж вовсе не либеральный – но куда более сведущий и практичный. Конечно же, нельзя сказать, что деятели новой формации заседали совсем уж бессмысленно, некоторые дельные идеи там рождались и даже реализовывались. Но всё же Александр чем дальше, тем яснее понимал, что государственное управление – не столько пиршество высокой мысли, сколько скучная, рутинная и довольно грубая работа. А её-то опытные придворные делали

намного лучше. Более того: государь ощутил силу дворцовых группировок, по-настоящему понял, что такое политика... И он не мог не почувствовать азарт, в нём проснулся игрок. Ведь это же так увлекательно! – сводить и разводить, выслушивать всех, сопоставлять, анализировать – и делать свой вывод. Можно предполагать, что молодой царь смекнул: кто владеет информацией, тот владеет всем – и попытался замкнуть множество информационных потоков на себя. Вероятно, что не сам Александр до этого додумался, подсказал кто-то из матёрых сановников. Но император оказался способным учеником – а это главное. Вообще власть, а такая, что досталась Александру, тем паче – сильный энергетик, от неё кровь бежит по жилам огненно, пьянит и дурманит... И отдадим должное царю – он не опьянел и не одурманился. Да, он познал вкус власти, она понравилась ему; но всё же он был слишком умён и воспитан для того, чтобы впасть в экстаз всемогущества, как это случается с иными, не столь устойчивыми натурами. При всём азарте, весёлом, жутковатом ветре той высоты, на которой Александр оказался, власть не стала для него довлеющей целью. Кто знает, может быть за это надо сказать «спасибо» Лагарпу – пусть он кормил ученика истинами пресными, но они от этого истинами быть не переставали, и ученик сумел воспринять лучшее в них...

А прогос: Лагарп вновь очутился при Александре, теперь уже при самодержце: тот сам поспешил пригласить любимого

го наставника. Видно, сильны были воспоминания о прежних годах – память человеческая такова, что в ней остаётся лучшее из прошлого, и потому мы смотрим в наше прошлое с улыбкой, чаще грустной, но грусть эта светла, как летний вечер... Наверное, так же светло и грустно улыбался Александр, когда они с Лагарпом вновь увиделись, поговорили – и о былом и о нынешнем; и государь понял, что в одну реку не ступить дважды.

Он изменился – годы сделали своё. То же должны были сделать годы и с Лагарпом, только сам он этого словно бы не понял. От идеалов не отрёкся – что в целом похвально – однако форма изложения осталась столь же сермяжной: он продолжал по-прежнему долго и нудно бубнить о них; правда, хлебнув лиха, сделался куда осторожнее.

Между прочим, это очень характерно для людей подобной идеологии, «просветителей». Французская революция, которая должна была воплотить их мечты о свободной и прекрасной жизни, как-то вдруг в два счёта превратилась в дикого и кровожадного тиранозавра, которого вскоре оседлал «деспот» Наполеон... Конечно, это стало для теоретиков «просветительства» крайне неприятным откровением. Им, очевидно, предствалось, как освобождённые от королевского и дворянского диктата, процветут науки, искусства и ремёсла, каким справедливым станет правосудие, как исполнятся разумного дружелюбия человеческие отношения... Но вместо этого теоретического счастья грянула чудовищная

страсть самого настоящего террора, жизнь стала стремительно превращаться в хаос, и восстановить её удалось лишь мерами вполне деспотическими.

Всё это не могло не заставить незадачливых мыслителей искать объяснение неудобным фактам и прогностическим конфузам, но так, чтобы не предать своих священных коров... Конечно, объяснение отыскивалось – отчасти уже упомянутое; теперь же о нём следует сказать подробнее.

Пришлось признать, что человечество в массе не готово к восприятию тех концептов, что прочно поселились в отдельных прогрессивных головах. Следовательно – это самое человечество надо воспитывать постепенно и аккуратно, поднимая его до своих умственных высот, иначе с ним может случиться что-то вроде кессонной болезни... Собственно, оно уже и случилось: революция, превратившая какую-никакую, но всё же систему в хаос, из которого вскоре выкристаллизовалась новая «деспотия».

Лагарп оказался в самой гуще бурных событий, познал не понаслышке, что значит прогневать отсталые массы. И теперь о свободе и равенстве он говорил с поправкой на горький опыт: что не надо спешить, что лучшие дозы свободы – гомеопатические, и что никто не сможет обеспечить прогресс лучше самодержавного просвещённого царя...

Но Александр это и так знал. Узнал – за недолгий срок пребывания на троне. Он действительно сумел стать отличником в науке власти. Он слушал, улыбался, очаровывал...

и делал то, что ему надо.

Придворные – те, кто мечтал влиять на нового императора – слишком долго витали в эмпиреях. Когда же спохватились, было уже поздно. Император стал таковым не номинально, но буквально (impero по-латыни – приказывать, если кто забыл). Приказывал отныне он, а прочим оставалось либо слушаться, либо удалиться в частную жизнь. Строптивых, но толковых Александр, конечно, умел ценить – но до известной черты.

Нечто вроде вялой оппозиции, правда, возникло, и опять-таки имя вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны оказалось каким-то образом задействовано здесь; впрочем, слухами всё и ограничилось... Платон Зубов с запозданием догадался было, что удача уплывает от него, засуетился – и тут же ему пришлось с горечью познать, что свой шанс он упустил. Александр переиграл его по всем статьям, никто бывшего фаворита поддерживать не рискнул.

Отныне Зубов навсегда сделался бывшим. Он коптил белый свет ещё два десятилетия, никчёмный, рано постаревший, и никому не интересный, хотя сундуки в подвалах его замка (всё в той же Курляндии) ломались от золота...

Александр же мог с грустью убедиться в том, что золотое время, когда он, отрок с горящими глазами, слушал как песнь песней воспалённые проповеди Лагарпа – это время безвозвратно ушло. Постаревший учитель ничего нового не был способен поведать повзрослевшему ученику, а как дей-

ствующий политик царь в Лагарповых подсказках не нуждался. Другое дело – такие зубры придворных дебрей, как Салтыков, Державин или Трощинский... С ними приходилось держать ухо востро, но никто кроме них не мог дать точных дельных советов, в которых Александр нуждался ежедневно и ежечасно.

Это не значило, что он стал хуже относиться к Лагарпу. Это значило лишь то, что жизнь стала сложнее. Попросту она стала взрослой.

Александр, наверное, не прочь был оставить Лагарпа рядом. Но тот как-то не улавливал изменившихся реалий. Видимо, он и в самом деле был человеком ограниченным, неспособным к широкому, кругозорному охвату событий. Конечно, его тесное мировоззрение не оставалось совсем уж окаменелым – но всё-таки оно явно не поспевало за новым веком. Екатерининские мастодонты, правда, Платонами и Невтонами тоже не были, однако они высокими материями головы себе не морочили (кроме Державина, разве что), а потому и оказались более приспособленными к суровому, изменчивому климату придворного бытия.

Попросту говоря, Александр мягко избавил себя от надоедлого Лагарпова общества, оставшись с бывшим наставником в дружбе на расстоянии. Иные времена, что поделаешь! А времена и вправду не выбирают.

Но спросим: а что же воистину действенного создал Негласный комитет?..

С Конституцией дело не заладилось. Крепостное право тоже оказалось таким институтом, который трогать небезопасно – при всём том отвращении, который он внушал. Поразмыслив, в Комитете изобрели компромисс: предложили помещикам, буде те пожелают, отпускать своих крепостных на волю. Это новшество было оформлено в виде «Указа о вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 года, и в нём авторы проявили прямо-таки Соломонову изобретательность: дабы и процесс пошёл, и дворянство не заволновалось. В общем-то так оно и случилось, только уж очень робким этот процесс выглядел. В Негласном комитете наверняка ждали большего; похоже, там рассчитывали на какую-никакую просвещённость и сознательность дворянского сословия: на понимание того, что рабство в наши дни стыдно и недостойно цивилизованных людей и цивилизованной страны. Ну и, кроме того, условия освобождения постарались создать для помещиков достаточно выгодными... И что же?

Да, среди дворян находились возвышенные души, добровольно освобождавшие крестьян. Крестьянство же, в свою очередь, выдвигало людей умных, энергичных, деловых – такие богатели и выкупались на волю сами... Именно отсюда

корни многих знаменитых предпринимательских династий, Морозовых, Мамонтовых, например. Так что не скажешь, что Указ о вольных хлебопашцах совсем не работал... Работал. Но слабо. Очень слабо.

Помещики, отпуская своих крестьян, часто выглядели белыми воронами, на них иной раз смотрели как на сумасшедших. Разбогатевших крестьян были единицы. Вообще, за годы царствования Александра I – статистика сохранила точные данные! – в разряд «вольных хлебопашцев» перешли 47153 души мужского пола [10, т. 38, 271]. Немного. Менее 0,5 % от числа всех крепостных.

Здесь стоит задуматься над вопросом, который может показаться странным, но на самом деле он принципиален. Вот этот вопрос:

А таким ли уж очевидным злом было для России крепостное право?..

Основания для этого вопроса есть. Ведь находились теоретики, оправдывавшие это явление. Они рассматривали отношения помещиков и крестьян как некий почти Конфуцианский патернализм – пожалуй, его наиболее ярко, как и подобает гениальному писателю, выразил Гоголь в «Выбранных местах...», в главе «Русский помещик». Быть помещиком, по этому мнению – значит, взять на себя огромный груз ответственности за своих крестьян. Это неустанный труд, забота о крестьянах, организация их труда, быта, досуга, радение об их христианском просвещении [19, т. 7, 290]... Сло-

вом, при таких господах русский мужик должен стать счастливейшим человеком в свете.

Должен – да вот что-то не становился.

И это при том, что такие рачительные, гуманные и умные дворяне были. Они умели заинтересовать мужика экономически, поощряли трудолюбивых, не мешали им зарабатывать и богатеть, а творчески одарённых крестьянских ребят выдвигали, давая им высокое образование – достаточно вспомнить того же Воронихина или знаменитого художника Василия Тропинина. Были и такие, как Евгений Онегин, которые вовсе не вмешивались в крестьянскую жизнь: у этих лентяи быстро спивались и нищали, но крепким-то хозяевам опять же ничто не препятствовало процветать... Наконец, многим крепостным, особенно дворовым – лакеям, кухаркам, кучерам – при хорошем барине жилось как за каменной стеной. Подобные типы в нашей литературе тоже отлично описаны.

Но было и другое.

Тут не стоит даже говорить о Дарье Салтыковой, знаменитой «Салтычихе» – она очевидно была патологическим, ненормальным типом, подобно венгерской графине Эльжете Батори; но ведь несть числа и тем, вроде бы психически вполне нормальным господам, у которых крестьяне готовы были выть от барщины, поборов, жестоких наказаний, от барской похоти. Екатерина изволила обижаться и гневаться на Радищева, а ведь он в своей книге, пусть сентиментальной и написанной «варварским», по мнению Пушкина

[49, т.6, 194], слогом, сказал горькую правду: «Я взглянул окрест себя, и душа моя страданиями человечества уязвлена стала» [52, 18]...

Конечно, в разговоре на эту тему многие официальные лица Российской империи, буде они воскресли, могли бы справедливо сказать: что-де хорошо разводить морализаторство, не отвечая ни за что, никем не руководя; а вот попробуйте-ка послужить, да столкнуться с реалиями русской жизни – сразу весь пафос исчезнет.

И в этом есть резон. Да, Россия – сложная, трудная страна, в ней трудно всё, начиная с размеров и климата. Чтобы удерживать такую огромную геополитическую массу, чтобы она не превратилась в разбойничий хаос, необходима жёсткая, централизованная власть, прочно скрепляющая разные слои общества сверху вниз: от царя к министрам, от тех к губернаторам, от них к помещикам – а уж те должны воспитывать и держать в спокойствии и сытости своих крепостных.

Это действительно почти Конфуцианская модель, и действительно, она может быть при определённых условиях этически оправданной, насыщенной идеологией заботы высших о низших – многие российские идеологи так и утверждали: звание дворянина, помещика есть нелёгкий, суровый долг попечения о простых людях, об их благополучии. И это не оставалось гласом в пустыне – находило отклик у многих искренних и мыслящих людей.

Наверное, те мыслящие люди были вполне уверены, что

действуют по-христиански, что их действия направлены ко взаимной всеобщей любви. Почему они не замечали вопиющего противоречия между своей концепцией и действительно христианским мировоззрением? Неужто – даже при условии, что все до одного дворяне действительно бы опекали и лелеяли своих крепостных – не понимали, что эта идеология носит именно масонский, а не истинно христианский характер?! Ведь это же совершенно масонская мысль: чтобы просвещённое меньшинство заботилось о неразумном тёмном большинстве и решало, как этому большинству надо жить; а ему самому и думать не надо, за него уже думают. Его дело – быть сытым и счастливым...

Возможно, в сказанном есть элемент утрирования, но суть такова и есть. Одна из главных истин христианства: человек должен быть свободен, должен сам выбирать и решать, что ему делать – только тогда он человек, личность, только тогда ему открыт путь к Богу. И между прочим, никакими ограничениями и попечениями, что злонамеренными, что из самых лучших побуждений, эту свободу остановить, укрыть, укутать невозможно. На время, может быть – но по сути, нет.

Впрочем, реальность сложнее. Всё возможно в этом странном мире. И христианство предъявляет человеку и обществу чрезвычайно высокую моральную планку – в земной жизни её трудно, очень трудно достичь...

Но в первые годы царствования Александр, видимо, о том думал не много. Не то, чтобы он был настроен как-то уж со-

всем вольтерриански; нет. В конце концов, православные обряды исполнял, они ему чужими не были. Другое дело, что он относился к ним, как к чему-то необходимому, даже симпатичному, но совершенно не главному для решения той основной задачи, что он перед собою ставил. А вот Негласный комитет, сонм интеллектуалов – это ему, Александру, казалось формулой универсума: умные, прогрессивно мыслящие люди, в обстановке блестящих, вдохновенных дискуссий... таким образом и будут продуцироваться стратегические тенденции. Недолго, но казалось.

И всё же не стоит предаваться сугубой иронии, вспоминая «молодых реформаторов» Александра. Опыт дело наживное, а наживался он в том числе и на заседаниях Комитета. Каким бы куцым не вышел Указ о вольных хлебопашцах, но ведь вышел-таки! – раньше ничего подобного и в помине не было. С подачи Комитета была образованна Комиссия по составлению законов: тоже дело нужное, хотя оно и не решило проблему навек запутанного российского законодательства... Ну и, наконец, трансформация исполнительной власти – самое, пожалуй, значимое, совершённое пятёркой реформаторов за полтора года их деятельности.

Когда-то отраслевые ведомства именовались на Руси приказами; сейчас названия их звучат забавно и чужаковато: Разбойный приказ, Панихидный приказ... Был даже Приказ царёвой мастерской палаты – ведал изготовлением царской одежды. Пётр I ликвидировал эти учреждения (не все, прав-

да) и ввёл вместо них коллегии, которые назвал на немецкий манер: Берг-коллегия (горное дело, поиски полезных ископаемых), Ревизион-коллегия (нечто вроде нынешней Счётной палаты)... Со временем ведомственный принцип их формирования оказался разбавлен территориальным: появились Малороссийская коллегия, Юстиц-коллегия ляфляндских, эстляндских и финляндских дел и некоторые другие. К началу XIX века Петровская система порядком устарела, запуталась сама в себе, надо было её менять.

Как? Упразднить коллегии?.. На это не решились: хорошо ли, плохо ли, но они работали; начнёшь распускать, останешься совсем без управления. Потому, хорошенько подумав, избрали приём классический, давным-давно известный, тем не менее не теряющий своей эффективности и поныне – Александр и его советники надстроили новое над уже существующим: создали управленческие органы, объединившие по несколько коллегий (те впоследствии были преобразованы в департаменты, отделы и т. п.). Императорский манифест от 8 сентября 1802 года провозгласил это официально: укрупнённые ведомства получили название министерств. И с тех пор до сего дня высшие чины отечественной исполнительной власти носят звучное имя министров, исключая период с 1917 по 1946 годы, когда они пребывали в ранге народных комиссаров – очередном заимствовании большевистской революции у революции французской.

## 6

Вообще-то, термин этот для России был не так уж нов. При императрице Анне Иоанновне высшие сановники именовались «кабинет-министрами», а при Павле наряду с прочими высшими чиновниками состояли такие, как министр уделов и министр коммерции... Но то были только имена. Манифест же от 8 сентября строил систему.

Образовывались восемь министерств: внутренних дел, иностранных дел, военно-сухопутных сил, морских сил, финансов, юстиции, народного просвещения и коммерции (на особом положении находилось государственное казначейство). При назначении министров Александр – очевидно, советуясь со многими – постарался соблюсти принцип «всем сестрам по серьгам»: и не забыть своих друзей, и использовать опыт стариков, и выдвинуть толковых бюрократов-профессионалов. Это было сложно!.. Однако, Александр быстро овладевал искусством сводить и разводить ряды – в целом ему удалось создать работоспособную команду.

Итак...

Министерство внутренних дел – по замыслу реформаторов, ключевое в схеме государственного устройства; собственно, министерство управления страной. Его император доверил Виктору Кочубею, что на первый взгляд может показаться странным: профессиональный дипломат, уже за-

рекомендовавший себя, ему бы все статьи заняться делами иностранными... Но Александр, очевидно, рассудил так: способных и умелых дипломатов достаточно, а вот держать в руках связи и скрепы империи – для того необходимо быть как менеджером экстра-класса, так и личным другом царя. А обоими этими качествами сразу обладал граф Кочубей. Рассуждение зрелое, и выбор оказался оптимальным.

Министром иностранных дел стал другой граф: Александр Романович Воронцов, человек весьма немолодой, долго проработавший с канцлером Безбородко. Правда, он уже почти десять лет как пребывал в отставке; попал в немилость Екатерины за близкие отношения с Радищевым, взглядов которого, кстати, не разделял, но счёл невозможным отказаться от друга и от помощи его семье. Император Александр отнёсся к симпатией как к своему тёзке так и к его младшему брату Семёну, тоже дипломату – этот прогневал уже Павла I в период его внезапной дружбы с Францией: Семён Воронцов, посол в Лондоне, был убеждённым англофилом. Павел Петрович воздвиг на посла гонение в своём экстремальном стиле: не только отправил в отставку, но и конфисковал имущество, которое Александр, взойдя на трон, поспешил возвратить, после чего вновь направил Семёна Романовича в Лондон. Так братья Воронцовы встали во главе российской внешней политики – правда, ненадолго.

С именем Радищева в нашей истории оказалось связано также имя первого министра народного просвещения Пет-

ра Васильевича Завадовского, ветерана придворной службы, побывавшего во время оно и в фаворитах Екатерины... С Радищевым он пересёкся в Комиссии по составлению законов, будучи её председателем. Как известно, опального сочинителя помиловал Павел I, освободил из ссылки, вернул чины и дворянство; Александр же любезно предложил службу в Комиссии. Радищев взялся за дело с увлечением – он уже много лет жил тихо и смиренно, даже не писал ничего, а тут вдруг воспламенился. Вероятнее всего, узрел в молодом царе единомышленника по просветительской идеологии, которая так и осталась его духовным пристанищем; воодушеваясь, он сочинил что-то такое уж очень вольнодумное.

Это попало Завадовскому на глаза. Многоопытный вельможа, понаторевший в придворных дебрях – и между прочим, не птеродактиль какой-нибудь, а умный, осторожный либерал, вернее, либеральный консерватор – тот сразу понял, что Радищевские тезисы могут всей Комиссии обойтись очень неприятными последствиями. Раздосадованный этим, он бросил упрёк не по годам ретивому энтузиасту: «Эх, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему! или мало тебе было Сибири?» [49, т.6, 193]. Он так сказал в сердцах, а Радищев воспринял всерьёз и испугался. Да так, что придя домой, хватил яду... и скончался. Случилось это 11 сентября 1802 года, на третий день после того, как Завадовский стал министром... Грустная история.

Жизненный путь Петра Васильевича был непрост, с тер-

ниями; будучи весьма немолод, Завадовский женился на юной особе, и в семейной жизни оказался не очень счастлив... Зато преуспел на службе. Не боясь ярких эпитетов, можно сказать, что министр из него вышел превосходный. Несмотря на более чем почтенный возраст – 63 года к моменту назначения! – он занимал должность почти восемь лет, дольше него из министров «первого призыва» продержался только один. Звание просветителя Завадовский понимал не вздорно, а так, как это надо понимать в самом лучшем смысле: именно при нём по-настоящему возникла та самая классическая гимназия, на базе которой и поныне существует отечественное среднее образование... Собственно, то была мощная и эффективная реформа, «национальный проект» – министерством просвещения был создан цельный и последовательный образовательный комплекс, определяемый «Уставом учебных заведений»: приходское училище – уездное училище – гимназия – университет. Конечно, всё было очень не просто, конечно, внедрять новое приходилось с невероятными трудностями, особенно в провинции, в глуши – но и там оказывались благородные самоотверженные учителя, не жалевшие сил ради благой цели [4, 325]... Пётр Васильевич предложил очень либеральный устав высшей школы (выборность ректоров, профессуры, университетского суда) – а Александр его решительно поддержал. В первые три года министерства Завадовского возникли четыре(!!!) университета: в Харькове, Казани, Вильно (ныне

Вильнюс, Литва) и Дерпте (Тарту, Эстония), причём два последних представляли феномены в нашей культуре уникальные. Университет в Вильно основали на базе иезуитской коллегии – в первые годы своего правления Александр к этой братии относился терпимо; а что касается Дерпта, то преподавание там велось на немецком языке, причём продолжалось так вплоть до 1893 года, пока император-славянофил Александр III не посчитал это ненужным баловством. Он вернул городу его древнее славянское имя: Юрьев, а преподавать велел по-русски. Теперь город называется Тарту, и учат там по-эстонски... Такие вот исторические зигзаги.

В современных учебных программах по культурологии можно обнаружить такую тему: «Культурный взлёт России в XIX веке». Справедливо – и тем более справедливым будет сказать, что в значительной мере этот взлёт обеспечил первый министр просвещения Пётр Васильевич Завадовский.

И ещё. При нём же возникла идея особых, «экспериментальных» учебных заведений – лицеев; но о тех разговор особый.

Итак, дольше Завадовского продержался в министерском кресле из назначенных 8 сентября 1802 года только один человек. Завадовский ушёл в отставку 11 апреля 1810 года, а министр коммерции Николай Петрович Румянцев, сын знаменитого полководца, перестал быть таковым 25 июля того же года. Но в отставку не уходил – было ликвидировано само это министерство; в тот день система управления в целом

претерпела реорганизацию.

Перестав быть министром коммерции, Румянцев не перестал быть министром как таковым. Эрудированный, культурный, исключительно работоспособный, он сумел сделать себя одним из столпов государственной машины. В 1808 году он возглавил министерство иностранных дел, затем всё правительство – и даже когда здоровье Николая Петровича сильно пошатнулось, Александр предпочитал сохранять высший служебный пост за ним... но то были уже другие времена.

Человек не бедный, Румянцев возвёл меценатство в систему. Увлекаясь географией, историей, он спонсировал морские экспедиции, издание научных трудов, отыскивал где только мог архивные источники – и в результате собрал великолепную библиотеку, которую завещал государству [80, т.53, 286]. Так возник Румянцевский музей, в 1861 году переведённый в Москву, в знакомый нам дом Пашкова. Впоследствии же, библиотека этого музея, пополняясь и развиваясь, преобразовалась в библиотеку имени Ленина, легендарную «Ленинку» – сегодня Российскую государственную.

Если Завадовский с Румянцевым явили первые рекорды правительственного долголетия (в будущем, конечно, перекрытые), то глава морских сил Николай Семёнович Мордвинов открыл счёт министерским отставкам, пробыв «в кресле» три с половиной месяца, даже Нового года не дождавшись: 26 декабря он покинул должность, на которую больше

не вернулся.

Причина? Министру показалось, что его заместитель («товарищ», как тогда называли), адмирал Чичагов, слишком уж рьяно взялся за дела, в том числе и не за свои, подменяя собой начальство – чем нашёл сочувствие и поддержку у влиятельных придворных. Тогда Мордвинов не без апломба заявил: мол, если так, то пусть Чичагов и командует, а меня увольте... И уговаривать его не стали.

Своеобразным человеком был Николай Мордвинов, адмирал во втором поколении – ещё батюшка его председательствовал в Комиссии по улучшению флота. Всю жизнь – очень долгую! – Николай Семёнович провёл в «большом свете», и всё время он в этом свете оставался как-то в стороне; современники называли его «русским Катоном», имея в виду, очевидно, Катона-старшего. Мордвинов действительно был интеллектуал, безглаголиво чурался всяких паркетных маневров. Моряк по профессии, он серьёзно занялся экономикой, банковским делом, писал капитальные труды, названия коих для дилетантов звучат устрашающе: «Некоторые соображения по предмету мануфактур в России и о тарифе»; «Рассуждение о могущих последовать пользах от учреждения частных по губерниям банков» [80, т.38, 840]... Собственно, в эти годы, 1801–1802, Мордвинов от морского дела отошёл и стал экономистом-теоретиком; позже – президентом Вольного экономического общества. Николай I пожаловал его графом.

Есть основания полагать, что Мордвинов так ясно, как мало кто в России, разумел трагический разрыв между нравственной бедой крепостного права и невозможностью отменить его враз, так, чтобы не рухнуло государство – и в этом напоминал Александра, особенно Александра зрелого, глубоко проникшегося этической проблематикой, осознавшего её сложность, иной раз безнадёжную, когда во многом знании воистину многая печали...

Раз уж вышло так, что Мордвинов покинул правительство, толком не начав работать, то требуется упомянуть и о Павле Васильевиче Чичагове – этот задержался в министрах надолго. Жизнь его складывалась не гладко, довелось одно время пережить опалу и гнев со стороны своего тётки, императора Павла [80, т.76, 886]... Но вот вышел и в большие чины. Советская историография отзывалась об адмирале со сдержанным неодобрением: дескать, третировал Ушакова и Сенявина, прогрессивных флотоводцев, прозевал отчаянный маневр Наполеона на Березине [10, т. 47, 414]... В этом доля истины есть, а по поводу Березины уже тогда общественность на Чичагова напустилась, хотя вроде бы что требовать с моряка, вынужденного воевать на суше... В итоге адмирал во цвете лет – ещё и пятидесяти не было – покинул службу.

В претензиях, предъявляемых Чичагову, доля правды есть, и он, наверное, сам оплошал, когда согласился стать сухопутным военачальником. А вот в кресле морского мини-

стра он оказался на месте. Павел Васильевич действительно был энергичным, мыслящим руководителем – дальновидным, готовым поддержать разумные новшества. При нём в конструкции кораблей был внесён ряд полезных усовершенствований, да и в том, что первый русский пароход «Елизавета» был спущен на воду в 1815 году, наверняка есть заслуга бывшего министра. Старался он сделать гуманнее флотские порядки, ввёл новую, более практичную форму – кстати говоря, кортик, символ морского офицера, появился именно тогда, а до того цеплялись к поясам длинные шпаги, чертовски неудобные на корабле. И наконец, не стоит забывать, что в годы министерства Чичагова было совершено первое в нашей истории кругосветное плавание под командой капитанов Крузенштерна и Лисянского... Касательно же препирательств с боевыми адмиралами – это дело обычное, те ведь тоже были круты, да ещё как! самолюбия у каждого хватало на пятерых.

Между прочим, Чичагов был одним из немногих, кто отпустил с миром всех своих крепостных по Указу о вольных хлебопашцах – это тоже кое о чём да говорит...

Министерства военно-сухопутных сил и финансов возглавили люди, чьи имена с годами не то чтобы затерялись, но известны немногим, в основном историкам-специалистам. Генерал граф Сергей Кузьмич Вязьмитинов [80, т.14, 723] и граф Алексей Иванович Васильев [80, т.10, 607] – «технические», как нынче говорят, министры, здравомыслящие, ис-

правные чиновники без политических амбиций. Не будучи «звездами» бюрократии, дело своё они тем не менее знали. Вязьмитинов позже руководил ещё и министерством полиции, образованным в 1810 году, хотя перед этим успел впасть в немилость, в которой был не очень виноват – император со временем и сам это понял и исправил свою ошибку...

И, напротив, самый знаменитый из первоначальников Александра – министр юстиции Гаврила Романович Державин, чья слава, правда, совсем не министерская. Но вот уж кто плоть от плоти тех грубоватых, диковатых лет, времён братьев Орловых, Потёмкина, Шешковского – так это он, Гаврила Романович, типичнейший «self made man», сын мелких дворян, неважно образованный, в юности пускавшийся во все тяжкие, но затем талантом, храбростью, авантюризмом, лестью и трудом пробивший дорогу в жизни, и безо всякой протекции. Почему император назначил Державина на пост, с которого, казалось бы и должны продуцироваться разные «продвинутые» проекты? С «негласными» Державин открыто конфликтовал, не ужился и в правительстве: он оказался вторым после Мордвинова, кто лишился портфеля. Зачем Александру надо было маяться с упрямым стариком?.. Ценил в нём прямоту, резкость, независимость (Державин, кстати, в самом деле сочинял конституцию, только на свой лад, сугубо дворянскую, и уж, конечно, без малейших намёков на отмену крепостного права)? Возможно; однако, недолго что-то ценил. На службе всё это хорошо в

меру, а быть «святее папы римского» неприлично, иной раз и опасно...

*Как государственный муж Державин славился строгостью и непримиримостью к тем, кто полагал, что «закон как дышло, куда повернул, туда и вышло» – а все проблемы решаются в неформальной обстановке. С Гаврилой Романовичем такие номера не проходили, он не боялся жёстко действовать против облечённых властью лихоимцев – например, против распоясавшегося до безобразия калужского губернатора Дмитрия Лопухина [75, 67]... Очень трудно представить, как бы он, будучи министром, воспринял скандальнейшее «дело мадам Араужо»...*

*Эта история случилась в марте 1802-го.*

*К супруге придворного ювелира француза Араужо воспылал плотской страстью сам Константин Павлович, с воцарением старшего брата ставший формальным наследником трона. Французенка притязания цесаревича отвергла, и великий князь, не привыкший к отказам, ожесточился. Его адъютанты каким-то образом завлекли мадам к нему во дворец... далее подробности темны – известно лишь, что спустя сутки несчастная женищина вернулась домой вся растерзанная, сказала мужу, что она обесчещена... и с горя умерла.*

*Официально Константин к этому отвратительному случаю был признан непричастным. Кто-то из его подчи-*

*нённых понёс строгое наказание. А как бы повернулось расследование, будь во главе российской юстиции Гаврила Романович Державин?..*

Но, во-первых, Державин имел огромный служебный опыт, подкреплённый сильным, зрелым разумом; во-вторых, не лишена оснований гипотеза о том, что здесь была попытка вариации на тему «поэт и царь»; поэзией как таковой император не увлекался, но, воспитанный на античной классике, знал, что неплохо, когда при сильном мире сего обретается персональный творческий талант, Пиндар. Конечно, было б лучше, если бы нашёлся свой, доморощенный – Державин-то потрясал лирой ещё близ бабушки; но, очевидно, наведя справки, Александр выяснил, что по уровню таланта рядом с Гаврилой Романовичем никого и близко не видать, разве что Карамзин – но тот не поэт... Пришлось довольствоваться тем, кто есть. Да и живой пример перед глазами: великий Гёте на службе Веймарского герцога. Державин, может быть, не Гёте, но на российском Парнасе, безусловно, первый.

Однако, содружества не вышло. Уйдя из правительства, Державин навсегда ушёл и с государственной службы, которой отдал ни много ни мало – 41 год. Сменил его князь Пётр Лопухин (отец последней фаворитки Павла Петровича, Анны, в замужестве Гагариной), тоже технический министр, стандартный опытный бюрократ – трудолюбивый, исполни-

тельный, без претензий; впоследствии он «дорос» и до самых высших должностей... А вот «товарищем» при нём стал Новосильцев.

Итак, восемь первых русских министров. Как они выглядят суммарно, статистически?.. Наверное, это небезынтересно.

Самый старший – Завадовский, самый молодой – Кочубей, 34 года. Первым и самым «молодым» (64 года) в 1805 году ушёл из жизни Воронцов, последним – Мордвинов, в 1845-м. Он же оказался и главным долгожителем: не дотянул трёх недель до 91-летия... Средняя продолжительность жизни – примерно 72,5 года. Немало по тем временам.

Все, разумеется, дворяне; кроме Державина все к концу жизни титулованные: Кочубей – князь, остальные графы. По поводу происхождения Васильева встречаются некоторые сомнения, будущий министр финансов вышел из каких-то неясных дворянских низов [16, т.1, 223]... но это, скорее, частное мнение. Кочубею и Румянцеву графское достоинство передано по наследству, прочие заработали его лично. Державин – чья слава громче всех – в силу, видимо, сварливого характера и до барона не дотянул, хотя по Табели о рангах выслужил 2-й класс. Первого (в разное время, по разным ведомствам и, соответственно, в разных званиях) оказались удостоены Кочубей и Румянцев. Прочие все остановились на втором – полном генеральском звании (сегодня это соответствует генерал-полковнику). Первый класс озна-

чал ранг фельдмаршала.

Министерства заметно модернизировали работу госаппарата. Правда, с их появлением Непременный совет превратился в пятое колесо и довольно долго в этом невнятном качестве пребывал. Негласный же комитет «прекратил течение своё» куда раньше, за ненадобностью. Кочубей, Новосильцев, Чарторыйский нашли себя в этой жизни, Строганов не очень. А жизнь... жизнь, она пошла дальше.

Так что же, были у Пушкина основания назвать первые годы царствования Александра I «прекрасным началом»?..

Да! – следует ответить на такой вопрос. Были. И дело не столько в результатах, хотя факты налицо. Министерства, университеты, гимназии – это не проекты, но объекты, настоящие, можно убедиться, увидев их воочию. Александру пришлось хлебнуть лиха: власть к нему явилась не в парадном блеске, при обстоятельствах страшных, и случались такие моменты, когда император был близок к отчаянию. Но он сумел одолеть это, сумел стать политиком, даже политиканом – достижение двусмысленное, но в данном случае необходимое. Он доказал, что умён, талантлив, умеет работать и умеет настоять на своём, провести свою царскую волю.

И всё-таки это не главное.

Пушкин немало и очень по-разному отзывался об Александре I. Хрестоматийное «Властитель слабый и лукавый...» – при доле истины скорее красное поэтическое словцо. Сказанное прозой куда менее известно, а оно того стоит, известным быть. Это – зрелый Пушкин, образца 1836 года; об императоре здесь, правда, косвенно, речь идёт о нелёгких нравах старины, автор предлагает читателям вспомнить «...их строгость, в то время ещё не смягчённую двадцатипятилетним царствованием Александра, самодержца, умевшего ува-

жать человечество» [49, т.6, 190].

Косвенно, но ёмко. Пушкин так умел.

Самодержец, умевший уважать человечество! – это серьёзно. И вот это самое главное и есть. Раннему Александру было ещё куда как далеко до метафизических высот, мировоззрение его, несмотря на строгие житейские уроки, было достаточно наивным. Однако уже тогда он, несомненно, проникся искренним желанием творить благо, да не так сплеча и сторяча, как батюшка Павел Петрович, а вдумчиво, разумно, и в том усмотрел долг властителя. Одним из первых императорских распоряжений, между прочим, было такое, отданное полиции: «Не причинять никому никаких обид». Приказ, скажем честно, пустой, но сердечный, а самая долгая дорога, как говаривали умные китайцы, начинается с первого шага. И император Александр I этот шаг сделал. Движениями добра, человечности, сострадания русская история XIX века в большой мере обязана Александру, а пробуждение – оно там, в тех самых первых годах, когда ростков было ещё даже не разглядеть, но зёрнышки уже в землю бросались.

Но та самая долгая дорога оказалась точно заколдованной: стоило лишь ступить по ней, как она диковинно вытянулась – то, что казалось близким, ушло вдруг куда-то вдаль, затуманилось, затерялось в дымке неведомого будущего. Император увидел, что меж ним и счастьем человечества бессчётное количество мелких и больших шагов, и все их делать надо. Он начал делать – один шаг, другой, третий,

пятый, десятый... А счастье и не подумало стать ближе, наоборот, возникли новые заботы. Да если б только свои, домашние! – придворные, министры, матушка, сёстры, генералы, фрейлины... А ведь есть ещё и другие страны, сильные и ярые, не признающие и не прощающие слабостей, они с разных сторон давят на Россию, и они-то разговоров о прекрасном будущем слушать не станут. Им интересно настоящее – и надо разбираться с ними здесь и сейчас, немедля, ибо стоит на миг зазеваться... И Александр начал разбираться.

# Глава 4. Большая политика

## 1

Сказать, что Александр с неохотой вошёл в европейские (тем самым и всемирные) дела, было бы, наверное, неправдой. Да, политику он воспринимал как средство, а не цель, но средство это не могло не взволновать его философический ум – так как в ней, в политике, иной раз отчётливее, чем где-либо, проявляется нечто такое, что составляет самую суть мироздания, и очень странно, может быть и непостижимо действуют таинственные силы, вопреки всем правилам вероятности...

Судьба корсиканца Наполеона Бонапарта заставила мудрецов девятнадцатого века поломать головы над тем, что не подвластно тривиальному разуму (в двадцатом веке стало не до того). Какие энергии, силы и поля сошлись в точку, почему так встали звёзды над небольшим островом в Средиземном море?.. Вопросы эти, конечно, носят риторический характер. Но вот взглянуть на проблему шире – это, собственно, прямая задача социальной философии, и надо сказать, что философы позапрошлого столетия честно пытались разрешить «казус Бонапарта». Гегель заявил: Наполеон есть острие Мирового Духа, именно в неказистом корсиканце Он

счёл нужным поселиться, дабы человечество и дальше развивалось – по сложной спиралевидной траектории. Правда, мотивы выбора, совершённого МД, так и остались прусско-му мудрецу неизвестны. . . Штирнера и Ницше Наполеон довёл до мысли о сверхчеловеках: тех немногих, кто кардинально отличается от людей рядовых, подчинённых нравственным заповедям. Сверхчеловек могущественным повелением судьбы устроен так, что для него этических критериев просто нет, и оценивать сверхчеловека, такого Ахиллеса, с позиций Добра и зла – бессмысленно. Для него существует лишь один закон: воля к власти! Следовательно, судить Ахиллеса надо лишь по тому, достиг он этой власти или нет. Стал повелителем – молодец; нет – значит, впустую растратил капитал судьбы.

Подобные концепции постарался опровергнуть Достоевский в «Преступлении и наказании»; это другая тема, но как иллюстрация – там Раскольников тоже поминает Наполеона:

«Нет, те люди не так сделаны; настоящий *властелин*, кому всё разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, *забывает* армию в Египте, *тратит* полмиллиона людей в московском походе и отделяется каламбуром в Вильне [после окончательного разгрома на Березине Наполеон сказал герцогу Коленкуру, всегда бывшему против войны с Россией, легендарную фразу: «От великого до смешного один шаг» – В.Г.]; и ему же, по смерти ставят кумиры – а стало быть,

и всё разрешается. Нет, на таких людях, видно, не тело, а бронза!» [27, т.5, 266].

Здесь крайне характерен мотив принципиального – «генетического», сказали бы мы в XXI веке – отличия супермена от обычного человека: «не тело, а бронза». Так ли это? – постараемся выяснить в дальнейшем; пока же придётся признать, что французский император долго служил европейской мысли самой популярной иллюстрацией к теме сверхчеловека. Разумеется, не обошлось и без теорий об inferнальной сущности Бонапарта, о том, что тёмные силы рвутся на Землю из ужасных глубин, и их миазмы формируют таких субъектов: с виду людей, а на самом деле демонические существа...

Пусть каждая из этих концепций имеет право на существование и обсуждение. Их анализ не входит в задачу данной книги, ибо независимо от онтогенеза событий, перед Александром встала совершенно практическая задача: он очутился лицом к лицу с «проблемой Наполеона», вернее, «проблемой Франции», потому что тогда, в первый-второй год девятнадцатого века Наполеон Бонапарт большинству европейских политиков казался просто продолжением революции. И эту проблема сразу же встала для начинающего самодержца в ряд первоочередных: Император Всероссийский такое лицо, которое по статусу должно принимать участие в решении всемирных политических задач.

Между прочим, Павел Петрович и тут оказался проницательнее многих, угадал в «корсиканском выскочке» то, что другие сразу не поняли. Правда, поживи император подольше, наверняка бы он переменял мнение, и во французском коллеге обнаружил бы «самозванца» или нечто в этом роде, но не успел.

Его сын, оказавшись на троне, наоборот, не успел ещё выработать твёрдых взглядов и правил, хотя сам о том не знал, как не ведал и того, что с ним будет впереди. Ему-то самому казалось, наверное, что всё в основном ясно: он, царь Александр I, друг свободы и убеждённый враг деспотизма, он хочет, чтобы все были свободны и счастливы... Правда, с воцарением вышло некрасиво; а если правду говорить, то совсем отвратно, хуже не бывает, и Александр тяжело переживал это, хотя ему и приходилось притворяться – что, надо сказать, очень неплохо получалось. Однако, что случилось, того не поправишь, надо действовать в тех обстоятельствах, каковы есть, вернее, надо поскорее одолеть их – другого пути к свободе нет, и придётся его пройти... Как царь стал преодолевать обстоятельства дворцовые, известно. Как он взялся за дела международные – будет рассмотрено в этой главе.

## 2

Вряд ли Александр был настолько наивен, чтобы считать, будто идея «вечного мира», выдвинутая Кантом – кстати, после всех ужасов революции – хоть как-то осуществима в той жизни, которую он знал. И тем не менее, начал он действовать так, словно решил воплотить (уж как получится) мысль кенигсбергского философа. Александр поспешил помириться с Англией, отозвал казаков из так и оставшегося виртуальным Индийского похода; заодно взялся и за переговоры с австрийцами, восстанавливая отношения, так резко порванные Павлом. Но вместе с тем молодой император не желал вновь рассориться с Францией и постарался сохранить с республикой (номинально всё ещё таковой остававшейся) партнёрские отношения... Иначе говоря, российской внешней политике удавалось поддерживать дипломатический баланс в Европе. Справедливости ради нужно отметить, что к этому стремились все ведущие державы, порядком измотанные десятилетием неурядиц – и в 1801–1802 годах в Старом Свете установилось хрупкое затишье.

Которое, конечно же, было затишьем перед бурей – все это прекрасно понимали.

В том числе и Александр. Трудно избавиться от впечатления, что больше всего он хотел, чтобы всем на свете было хорошо, осознавая при этом утопичность своего хоте-

ния. Грустное миролюбие – так можно назвать этот несколько минорный душевный настрой русского императора. Коротенькое же миролюбие других действующих лиц имело иную психологическую природу. У Наполеона – азартное нетерпение молодого хищника, вынужденного взять паузу, Франц с Фридрихом торопливо хлопотали, готовясь к неизбежным битвам, но в их суете проскальзывало что-то пугливо-истерическое, будто бы собратья-тевтоны предчувствовали грозное дыхание близких катастроф... Впрочем, ясно-видение здесь самое незатейливое, то, что в логике называется популярной индукцией: если от кого-то тебе крепко попало несколько раз подряд, то гипотеза о том, что этот «кто-то» вскоре постарается добавить пару увесистых ударов, складывается сама собой. А Бонапарт очень хорошо научил Австрию такой индукции: после того, как Павел Петрович, осерчав на бывших союзников, убрал русские войска из Европы, французы дважды – в битвах при Маренго и Гогенлиндене – наносили австрийцам сокрушительные поражения. Пруссакам попало меньше, но и они после этих разгромов смотрели боязливо, ожидая от жизни мало хорошего... Англия же, облегчённо вздохнув – от Индии вроде бы враги отстали – затаилась. Боевого Питта сменило более покладистое правительство Эддингтона, оно в 1802 году заключило с Францией Амьенский мир, основанный на взаимных уступках. Правда, продержаться долго он не мог в принципе: так, по его условиям, англичане должны были очистить

Мальту, чего, конечно, делать не собирались... На этой почве уже разругался с Альбионом Павел I, а уж Наполеон тем более дипломатничать не стал.

Но главная причина была всё же в другом. К 1803 году Бонапарт попал в очень сложные внутривнутриполитические обстоятельства: его возненавидели как революционеры, так и роялисты [сторонники прежней королевской династии Бурбонов – В.Г.]. Первые усмотрели в нём губителя тех идеалов, во имя которых когда-то штурмовали Бастилию, бушевали в Конвенте, дрались с интервентами... А для вторых, что бы он ни делал, Наполеон всё равно оставался исчадием кровавых беззаконий революции. Этот момент тонко уловили пращурсы «Интеллидженс сервис»; успешная операция против Павла I в Петербурге, очевидно, воодушевила британских рыцарей тайных дел, и они с энтузиазмом взялись за новые происки, теперь в Париже.

Надо сказать, что действовала английская разведка довольно точно. Найти как в самой Франции, так и среди эмигрантов людей, ненавидевших Бонапарта, было не ахти каким трудом, но в том-то и дело, чтобы в такой ситуации сделать правильный выбор. У англичан вроде бы это получилось.

Беглых роялистов на острове обреталось предостаточно, и самым среди них подходящим показался некий Жорж Кадудаль, неотёсанный, грубоватый бретонец... В английской тайной службе подобрались, надо полагать, люди очень тер-

пеливые, потому что с Кадудалем всё выходило не просто – суровый, недалёкий, он не собирался вникать в хитроумные тонкости романтики «плаща и кинжала»; но зато настолько ненавидел революцию, не разбираясь, кто там якобинец, кто жирондист, кто бонапартист, что всем им у него был готов один вердикт: смерть [64, 119]

Этот самый Кадудаль стал, так сказать, правым флангом атаки на Бонапарта. Левый же фланг сыскался в самом Париже: знаменитый генерал Виктор Моро, в своё время с Наполеоном соперничавший – слава двух революционных полководцев гремела по всей Франции. Моро был так же честолюбив и так же мог претендовать на роль диктатора – но вот, судьба почему-то решила улыбнуться корсиканцу.

Англичане верно оценили ущемлённое честолюбие генерала. Кадудаль тайно прибыл в Париж, механизм заговора начал работать...

Но на том английские успехи и кончились. В Париже всё как-то сразу не пошло на лад. Роялист Кадудаль и революционер Моро, сходясь в жестокой нелюбви к «господину первому консулу», расходились во всём остальном, и один с другим категорически не поладили. А кроме того, если полиция Петербурга была в руках заговорщика Палена, то контрразведка Наполеона работала на него и работала превосходно.

Наполеон умел подбирать кадры: абсолютных циников, не стеснявших себя никакими нравственными принципами. Правда, пришло время, и они хладнокровно его продали –

но до того было ещё далеко. Пока же Наполеон был для них выгодным хозяином, они служили ему – а уж трудиться-то они умели как никто другой... Таков был министр иностранных дел Шарль Талейран (кстати говоря, воспитанник иезуитской коллегии!), таков был и министр полиции Жозеф Фуше.

Агентурная сеть Фуше бесперебойно и чётко давала ему информацию, а он, разумеется, докладывал всё первому консулу; так очень скоро стало известно о Кадудале и Моро. Фигуранты оказались под колпаком, а в феврале 1804 года – в тюрьме.

Дальнейшее расследование, собственно, подтвердило то, что подозревалось с самого начала. Английские «уши» торчали из заговора, видимые невооружённым глазом, а у Бонапарта и Фуше глаза были вооружены, да ещё как... Эти глаза усмотрели в происходящем, наряду с английским влиянием также и происки Бурбонов, в частности, герцога Энгиенского, представителя так называемого дома Конде (боковой ветви династии).

Здесь – сумерки и загадки. Как обнаружилось впоследствии, никакого отношения к заговору герцог не имел. То ли у следствия оказались ложные данные, то ли кто-то сознательно ввёл Наполеона в заблуждение, то ли сам Наполеон решил пожертвовать невиновным человеком ради политической цели – припугнуть Бурбонов?.. Всё это так и осталось невыясненным. Мы не знаем причин, знаем лишь ре-

зультат: герцог Энгийенский был грубейшим образом, с нарушением всяких правовых норм арестован, а через несколько дней расстрелян.

Герцог жил эмигрантом в Баденском герцогстве (родина русской императрицы Елизаветы Алексеевны). Французский военный отряд вторгся туда, схватил жертву и удалился восвояси – а тесть Александра и его министры в это время сидели по домам, не смея носа высунуть на улицу [64, 122] ... Прочие европейские монархи были возмущены, однако возмущение своё изливали вполголоса или даже шёпотом; и лишь русский царь возвысил голос сполна: он выразил официальный протест главе Французской республики, первому консулу – за невиданное и неслыханное попрание международного права.

Ответ Наполеона – а точнее, Талейрана, ибо именно этот деятель стал главным вдохновителем данного документа – сделался легендарным. Французская республика ответила императору Александру I, что если бы он знал, кто убийцы его отца (если бы знал! – едко говорилось в ноте) и ради их наказания нарушил бы какую-то границу, то господин первый консул, сочувствуя сыновнему горю императора, протестовать не стал бы.

Это было ужасное оскорбление. На официальном уровне вся Европа говорила исключительно об «апоплексическом ударе», строго соблюдая обязательное дипломатическое ханжество; даже английский посол Витворт выражал соболезно-

вания в связи с этим грустным диагнозом. Александру было как ножом по сердцу слышать всякое упоминание о смерти отца – и можно представить, что он ощутил, прочитав злоязычную отповедь из Парижа...

Нередко приходится встречать мнение, что жестоко уязвлённый царь потом только и мстил Бонапарту; едва ли не всю жизнь принёс на алтарь этого мщения, и успокоился, лишь когда со врагом было покончено. И уж, разумеется, это стало главным мотивом вступления России в Третью антифранцузскую коалицию. В этом известная доля истины, бесспорно, есть, но не очень большая: при очевидных экзистенциальных наклонностях Александр душевным мазохистом не был. Да и ничего особо не помешало ему потом лобызаться с Наполеоном... Разумеется, он при этом артистически скрывал свои чувства – но вот как раз это лицедейство, свидетельствующее о холодноватом политическом прагматизме, и позволяет сомневаться в безрассудной экспансивности Александра. Мотив оскорблённого чувства – да, был. Но был не единственным. И даже не главным.

В какой-то момент императору стало ясно, что схватки между Францией и практически всей Европой (во французских союзниках числилась только Испания) не избежать. Не исключено, что при неких иных обстоятельствах русский государь не побрезговал бы подружиться с Бонапартом – что формально позже-то и случилось; но в 1804 году обстоятельства иными не оказались. Наверняка Александр предпочёл

бы, чтоб они сложились и не «pro», и не «contra», а по-третьему: чтобы войны вовсе не было. Однако, так они сложиться не могли.

Причины, побудившие императора ко вступлению в коалицию, являли собою сложный внешне- и внутривосточный комплекс. Несмотря на удаление Зубовых, проанглийское лобби в Петербурге оставалось очень сильным, ибо зиждилось на прочном экономическом базисе. Значительной части русского дворянства были чрезвычайно выгодны торговые отношения с Британским королевством – там охотно покупали наши сельхозпродукты – и найти в России мощный потенциал сочувствия англичанам не составляло труда. Тем более, что в 1804 году Эддингтона на посту премьер-министра обратно сменил вездесущий Питт.

Наполеон взялся за Англию всерьёз, именно в ней увидя главнейшую опасность для себя. В общем-то, в данной оценке он не ошибался, правда, затем антианглийская тенденция переросла у него в манию, исказившую взор, мешавшую адекватному восприятию обстановки и, соответственно, приведшую к фатальным просчётам... Но это произошло позже, а тогда Наполеон оценил ситуацию верно. В Булони, на побережье Ла-Манша он быстро и поразительно эффективно организовал военный лагерь для переброски войск на острова.

*Любопытный факт: Наполеон, вообще с большим любо-*

*пытством относившийся к техническим новинкам, в этом Булонском лагере начал эксперименты с воздушными шарами в качестве десантных средств – наверное, это были первые военно-воздушные силы в мире... Из затеи, правда, ничего реального не вышло, но приоритет был зафиксирован.*

В Англии Бонапартовы маневры вызвали понятный шок. Затем разнёсся патриотический призыв сколачивать ополчение, правда, в этом было больше отчаянной бравады, чем здравого смысла: сладить с французами на суше не надеялись. Вот на море – другое дело; британский флот – это сила. Да и сама природа пришла на помощь англичанам: в конце лета 1805 года в восточной Атлантике устойчиво держалась погода, делавшая десантную операцию невозможной. Каждые сутки были на счету – Питт не жалел сил и денег, сколачивая коалицию.

Почти невероятно – но это ему удалось! Союз, впоследствии названный Наполеоном «сотканным из ненависти и золота» [64, 128], был скорее кое-как сбит наспех, нежели соткан, однако всё же был. Наверное, это был почти подвиг – премьер-министр, как позже выяснилось, надорвался на этой ниве. Но Англию он спас! Создал такие условия, при которых Австрия и Россия были вынуждены начать военные действия. Наполеону ничего не оставалось, как спешно перебрасывать войска из Булонского лагеря на восток, в Баварию.

### 3

Изо всех антифранцузских коалиций, призраками возникших и исчезающих в бурные (1792–1815) годы, Третья оказалась самой конфузной для её участников, а потому и самой краткой. Питтов скорбный труд, конечно, даром не пропал, но в кое-как сцепленном блоке каждый был скорее за себя, чем за всех. Пруссия в союз вообще формально не вошла, оттягивая время вступления насколько возможно; вошла Швеция – финансовое положение северного королевства стало к этому моменту что-то уж очень неприглядным, а Питт на обещания не скупился... Однако, чрезмерно усердствовать шведы тоже не собирались. По-настоящему в войне были заинтересованы лишь Англия и Австрия: первая потому, что французское вторжение выглядело совершенно реальным; а второй почудилось, что можно будет исправить условия тяжёлого для неё Люневильского мира. Что касается Александра, то он, может быть и без большой охоты вступая в коалицию, к союзническим обязательствам отнёсся совестливо – пожалуй, единственный изо всех... Здесь надо сказать, что помимо давления со стороны английской «агентуры влияния», императора сильно беспокоила ещё одна проблема: польская. Бабушкино приобретение отозвалось через десять лет внуку головоломной задачей со множеством неизвестных; равные заботы, впрочем, одолевали и монархов ав-

стрийского с прусским: сказать, что поляки восприняли крах своего королевства болезненно, значит ничего не сказать.

Понять их можно. Совсем не так давно Речь Посполитая числилась в первом ряду европейских государств – а теперь... Да, «ясновельможные паны» своей неразумной политикой сами низвели отечество до исчезновения, но ведь кроме таких панов были и другие, умные и храбрые, не смирившиеся с тем, что их Польши нет на свете. И уж разумеется, Наполеон с Талейраном никак не могли упустить шанс привлечь этих людей на свою сторону: интерес был обоюдный и даже искренний.

Александр, хотя полякам в целом симпатизировал, потерять нажитое не мог себе позволить. Вместе с тем он понимал, что быть явным оккупантом тоже нехорошо – даже не с этической, а просто с прагматической точки зрения. Потому он искал компромиссы, и кое-что вроде бы нашёл. К 1804 году министр иностранных дел Воронцов сильно сдал: возраст, болезни... Встал вопрос о замене. Хорошенько подумав, Александр назначил Чарторыйского – и главным образом потому, что с помощью князя надеялся если не разрешить, то хотя бы стабилизировать польскую проблему, а следовательно, закрепить дальнейшие позиции в Европе. Ход логичный: Чарторыйский, будучи патриотом своей родины, был вместе с тем и реальный политик, далёкий от авантюризма, он хорошо понимал, что будущая независимость Польши зависит от позиции России. Значит, в служебном рвении

нового министра Александр мог быть уверен...

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.